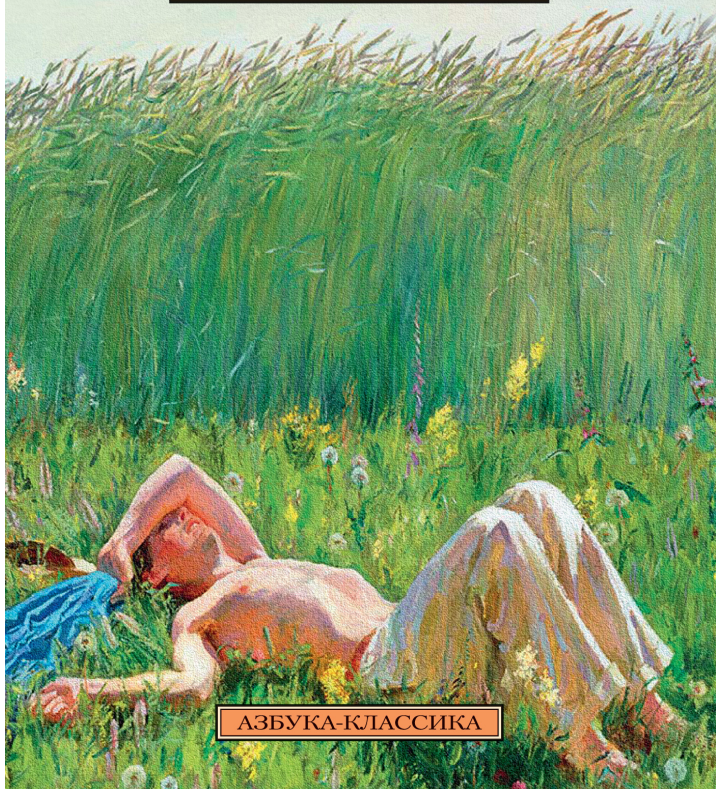


БОРИС  
БАЛТЕР

*До свидания,  
мальчики!*

АЗБУКА-КЛАССИКА



# Борис Исаакович Балтер

## До свидания, мальчики!

### Серия «Азбука-классика»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67970843](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67970843)*

*До свидания, мальчики!: Азбука, Азбука-Аттикус; СПб.; 2019*

*ISBN 978-5-389-16633-2*

### **Аннотация**

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Балтера – писателя, переводчика, сценариста, автора повести «До свидания, мальчики!», пронзительной истории любви и дружбы накануне Великой войны. Действие ее происходит в далеком курортном городке, где светит ослепительное солнце и плещется ласковое море, жизнь идет своим чередом, и кажется, что молодость не кончится никогда... Романтически-светлая, во многом автобиографичная повесть Бориса Балтера принесла ему широкую литературную известность и читательское признание, а в 1964 году легла в основу одноименного фильма, снятого режиссером Михаилом Каликом.

# Содержание

Трое из одного города	5
1	5
2	19
3	30
4	39
5	58
6	65
7	71
8	80
Конец ознакомительного фрагмента.	87

# **Борис Исаакович Балтер**

## **До свидания, мальчики!**

*Константину Георгиевичу Паустовскому*

© Б. И. Балтер (наследники), 2019

© А. А. Пластов (наследник), иллюстрация на обложке,  
2019

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Ат-  
тикус“», 2019

Издательство АЗБУКА®

# Трое из одного города

## 1

В конце мая в нашем городе начинался курортный сезон. К этому времени просыхали после зимних штормов пляжи и желтый песок золотом отливал на солнце. Пляжи наши так и назывались «золотыми». Было принято считать, что наш пляж занимает второе место в мире. Говорили, что первое принадлежит какому-то пляжу в Италии, на побережье Адриатического моря. Где и когда проходил конкурс, на котором распределялись места, никто не знал, но в том, что жюри конкурса смошенничало, я не сомневался: по-моему, наш пляж был первым в мире.

Зимой и летом город выглядел по-разному, и зимняя его жизнь не походила на летнюю.

Зимой холодные норд-осты врываются в улицы и загоняли жителей в дома. Город казался вымершим, и в самых отдаленных концах его слышался разгневанный рев моря. Во всем городе работал один кинотеатр, в котором давали только три сеанса – последний кончался в десять часов вечера. Мы все дни и вечера проводили в школе и в Доме пионеров, а в наших собственных домах были редкими гостями.

Весь город делился на три части: Новый, Старый и Пе-

ресыпь. Наша школа была в Новом городе, в Новом городе был и курорт с пляжем, санаториями, курзалом<sup>1</sup>. Курортники очень удивлялись, когда узнавали, что в нашем городе есть Пересыпь. Они почему-то воображали, что Пересыпь может быть только в Одессе. Чепуха. Море пересыпает пески, намывая вдали от берега песчаные дюны, не только в Одессе. И поселки, построенные на этих дюнах, называются Пересыпью во всех южных городах.

Витька жил на Пересыпи, а я и Сашка – в Новом городе. Сашка и Витька дружили с Катей и Женей – девчонками из нашего класса. Я – с Инкой Ильиной; она была младше нас на два года. И хотя все мы жили в разных концах города, это не мешало нам каждый день после школы проводить вместе. Мы не искали уединения: вместе мы чувствовали себя свободней и проще.

В погожие воскресные дни мы уходили на курорт. Пустынные пляжи казались необыкновенно широкими. На черных металлических сваях возвышался «Поплавок». Он стоял без оконных рам и дверей, снятых вместе с мостиком, чтобы их не разбило штормом. На перилах террас и на крыше сидели птицы. Светло-зеленое море с белыми гребнями волн было враждебным и холодным. Время от времени птицы кричали, и в криках их слышались тоска и отчаяние.

Мы бродили в голых и озябших парках, и между деревья-

---

<sup>1</sup> *Курзал* – помещение на курорте для отдыха, музыкальных вечеров, танцев, выставок и т. д. – *Здесь и далее примеч. ред.*

ми белели здания санаториев с заколоченными окнами. Мы не могли долго выдержать тишины и заброшенности пустынных мест. Тогда мы начинали петь и кричать. Сашка Кригер взбегал вверх по длинной, с широкими ступенями каменной лестнице и, обернувшись к нам, читал:

Хожу,  
    Гляжу в окно ли я —  
Цветы  
    да небо синее,  
То в нос тебе  
        магнолия,  
То в глаз тебе глициния.

Читал он, конечно, и другие стихи, но мне почему-то запомнились именно эти. Наверное, потому, что над нами было синее небо, светило солнце, но было холодно и не было цветов.

На парадной лестнице санатория «Сакко и Ванцетти» мы часто устраивали импровизированные концерты. Катя танцевала. Женя пела. По нашему мнению, от профессиональных певиц она отличалась лишь тем, что не боялась простудить горло. Мы все обладали какими-то талантами. Бесталанной была только моя Инка. Но она не огорчалась. Во всяком случае, настроение от этого у нее никогда не портилось. Учителя прозвали Инку «мельница». А мы относились снисходительно к ее чрезмерной болтливости и к способности

смеяться без всякого повода.

Мы все отлично учились. Исключением опять же была Инка. Отметка «отлично» в журнале была для нее редкостью, но Инка оповещала об этом всех своих друзей и знакомых. Зато «уды» она тщательно скрывала даже от нас. Но мы все равно узнавали и отлучали Инку от всех наших развлечений. Ей не помогало ни ее красноречие, ни клятвенные обещания, что это в последний раз. Мы были безжалостны. Каждый из нас готовился стать в жизни значительным человеком. Об этом мы никогда не говорили, но это подразумевалось. К Инке для помощи прикомандировывался Витька. Это было трудным испытанием его педагогических способностей. Я брал на себя добровольную роль консультанта. Правда, Витька в моей помощи не нуждался, но я просто не мог долго не видеть Инку.

Мы не сторонились других наших сверстников. У каждого из нас были друзья вне нашей компании. Но вшестером мы были неразлучны.

Осенью и весной старшекласники выезжали в колхозы. В школе у нас были хорошие мастерские. Две яхты, сработанные нашими руками, ходили в Севастополь и Ялту. С наших ладоней круглый год не сходили мозоли, желтые и твердые, как ракушечник.

В мае цвела акация. Она цвела долго, осыпая город белыми лепестками. Цветение акаций совпадало с началом курортного сезона. Как важные события передавались из

уст в уста сообщения: «Открылись „Майнаки“», «открылся „Дюльбер“», «открылась „Клара Цеткин“»... Эти санатории всегда открывались первыми. На Приморском бульваре появлялись первые отдыхающие. Улицы города с каждым днем становились многолюдней. Приезжим сдавали лучшие комнаты. Они становились полновластными хозяевами города. Город менял свое лицо, делался шумным, нарядным, веселым. Открывались магазины, павильоны, рестораны. В курзале выступали столичные знаменитости. Они появлялись ослепительно-яркие, будоражили всех и исчезали. В учреждениях города висели лозунги, которые призывали создавать все условия для здорового отдыха трудящихся. И эти условия создавались.

Но взрослые почему-то курортников не любили. Наверное, потому, что зависели от них и рядом с ними их собственная жизнь казалась неинтересной и тусклой. А мы относились к приезжим безразлично, хотя это безразличие было только внешним. Для нас они не существовали в отдельности как человеческие личности. Наш интерес и любопытство вызывала вся их разнородная, пестрая масса: женщины, которые, казалось, заботились лишь о том, чтобы появляться на улицах предельно обнаженными, мужчины, которые все дни проводили у винных погребков и киосков. Всех их мы встречали на улицах и в трамваях. Они заполняли пляжи. Старые и молодые, толстые и худые, красивые и безобразные, они с одинаковой жадностью поглощали солнце. Мы ви-

дели их в курзале – нарядных, чистых, хорошо пахнущих, как-то по-особому свежих и снисходительно добрых; так выглядят люди, свободные от повседневных забот. Среди них были знаменитые инженеры, ученые, служащие, просто рабочие. Все они в наших глазах сливались в одно целое – в «курортников». И нам даже в голову не приходило, что в городах, из которых они приехали, это были обычные люди, с такими же, как у всех людей, будничными делами.

Они жили среди нас, не замечая нас. Им не было никакого дела до того, что о них думают и говорят. А город видел все их слабости, и потому наши отцы и матери считали себя выше их. Но в то же время бездумно-свободная жизнь курортников накладывала свой отпечаток на местные нравы.

На Базарной улице, недалеко от Сашкиного дома, была мастерская промкооперации «Металлист». В ней чинились примусы, керосинки, велосипеды, паялись и лудились кастрюли. Всю работу выполнял один человек. У него, наверное, были фамилия и имя, но между собой мы называли его просто Жестянщик. Чтобы не платить за квартиру, он жил в мастерской, ходил в одном и том же комбинезоне с неуклюжими заплатами. В мастерской, среди запахов керосина и ржавого железа, особенно остро пахло рыбой: ею Жестянщик постоянно питался ради экономии. Кроватью ему служил верстак, а грудю тряпья, заменявшую ему постель, он убирал днем на полку, приделанную под потолком.

Когда начинался курортный сезон, Жестянщик отмывал

руки в щелоче, запирали мастерскую и снимал самый дорогой номер в гостинице «Дюльбер» – лучшей гостинице города. В белом фланелевом костюме, в заграничных туфлях, сплетенных из тонкой кожи, Жестянщик преображался. В мастерской он не появлялся до осени и все дни проводил на пляже. По вечерам его можно было встретить в курзале, а после концерта – на веранде «Поплавка» или в ресторане «Дюльбер» в обществе красивых женщин и развязных мужчин. Знакомясь, он рекомендовал себя капитаном дальнего плавания, временно оставшимся на берегу. И женщины млели, когда его огрубелые руки сжимали их талии во время танца. В конце курортного сезона Жестянщик возвращался в мастерскую.

Но однажды он вернулся в нее в середине лета. Это случилось после одной истории, о которой говорил весь город.

К нам на гастроли после заграничного турне приехала знаменитая балерина. Она три дня танцевала на открытой эстраде курзала. И все эти три дня мы видели Жестянщика в первом ряду на одном и том же месте. Каждый вечер, когда балерина исполняла последний танец, в проходе перед сценой появлялась билетерша с корзиной голубых, как утреннее небо, роз. Эти редкие розы выращивал садовник на Пересыпи, и, чтобы придать им необыкновенный цвет, он что-то впрыскивал в корни. Когда балерина, вызванная овацией, выходила на авансцену, билетерша ставила к ее ногам цветы. Жестянщик вставал и уходил по проходу – высокий, эле-

гантный, невозмутимо спокойный. На последнем концерте я увидел его глаза: обычно белесые, они светились ярко и холодно, как будто вобрали в себя цвет роз. Он прошел мимо нас как слепой. Я толкнул локтем Витьку, Витька уставился на меня. Я повертел пальцем перед своим лбом, и тогда Витька понял, что смотреть надо не на меня. Рядом с Жестянщиком шла билетерша и зло говорила:

– Платить-то думаешь? Третью корзину таскаю...

– Потом, потом, – ответил Жестянщик.

Но билетерша продолжала идти рядом. Мы хорошо знали ее скандальный характер и пошли следом за ними, чтобы ничего не прозевать. Но нас ожидало полное разочарование: скандала не произошло. У выхода за ограду Жестянщик достал из бокового кармана пиджака бумажку и, сжав ее в кулак, сунул в руку билетерше.

В этот вечер Жестянщик ушел с концерта не один. А на другой день он вместе с балериной исчез из города.

Жестянщик вернулся через месяц...

Я и Витька ждали Сашку на углу Базарной улицы. Сашка опаздывал. Никто из нас никогда не опаздывал. Мы стояли и ругали его последними словами. Наконец Сашка появился и издал сообщения:

– Имею новость...

– Наплевать на твою новость. Почему опоздал? – спросил Витька.

– Нет, вы видали? Я бегу сообщить им новость, а ему на

нее наплевать. Он еще не знает, на что плюет, но уже плюет.

– Сашка, не трепись, – сказал я. – Почему опоздал?

– Сообщаю: вернулся Жестянщик.

– Врешь? – спросил Витька.

– Новость из первых рук. Источник самый авторитетный.

Мы не поверили Сашке. У него все новости были из «первых рук» и из «самых авторитетных источников». На этот раз авторитетным источником была Сашкина мама.

– Проверим? – спросил я у Витьки.

– Я уже проверял, – сказал Сашка.

– Ничего, теперь мы проверим, – сказал я.

Мастерская была за углом. Мы подошли и заглянули в дверь. Жестянщик стоял за верстаком в своем комбинезоне. Он принимал работу, долго и мелочно торгуясь с пожилой женщиной.

– Ну как? – спросил Сашка. – А это видали?

Сашка вытащил из кармана газету: в хронике сообщалось, что после короткого перерыва балерина возобновила свое феерическое турне по городам Кавказского побережья.

Мы простили Сашке его опоздание. Жестянщик был нашим личным врагом. Почему – мы не знали. Он ничего плохого нам не сделал, и мы никогда не сказали с ним ни одного слова. Но он все равно был нашим врагом, – мы это чувствовали и презирали Жестянщика за его двойную жизнь.

Особенно непримиримо Жестянщика ненавидел Витька. Открытых столкновений между нами не было, но Жестян-

щик, наверно, догадывался о нашей ненависти к нему. Как только мы встречали его с какой-нибудь женщиной, Витька не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Есть же паразиты. В городе примуса негде починить, а они гуляют...

Ни разу не выдал себя самозванный капитан ни взглядом, ни движением головы. Нам очень хотелось идти за ним и разоблачать. Мы просто мечтали об этом. Но, говоря откровенно, мы боялись незрячих глаз Жестянщика и его тяжелых рук. Наверно, поэтому мы ненавидели его еще больше.

В прошлое лето мы часто видели Жестянщика на пляже с молодой и очень красивой женщиной. Потом случайно встретили ее в городе одну: она выходила из галантерейного магазина. Витька шагнул к ней навстречу и загородил дорогу.

– Человек, с которым вы бываете на пляже, обманывает вас, – сказал Витька и ужасно покраснел, потому что женщина смотрела на него зелеными глазами и улыбалась.

– Как же он меня обманывает? – спросила она.

– Он не тот, за кого себя выдает...

– Милый вы мой, для женщины это не худший вид обмана. Я знаю, что он не капитан, но какое мне до этого дело?

Витька вернулся к нам красный и злой. Женщина смотрела на нас и смеялась.

– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – громко сказал Сашка, и мы ушли, гордые и непонятые.

Женщина смеялась, и смех ее преследовал нас по крайней мере два квартала.

Мы, конечно, не подозревали, что и на нас бездумно веселая жизнь курорта с детства оказывала свое влияние. Я, например, до тринадцати лет разгуливал по городу в плавках и в этом первобытном наряде чувствовал себя на городских улицах свободно и просто, как, очевидно, чувствуют себя туземцы в Африке. Так продолжалось до тех пор, пока на меня не обратила внимание одна молодая женщина. Я пил газированную воду, а она проходила мимо с мужчиной. Они тоже остановились у киоска напиться. Я ловил краем глаза их отражение в стекле витрины. Женщина кивнула на меня своему спутнику и сказала:

– Посмотри на этого мальчика – живой Аполлон...

Я был достаточно сведущ в мифологии, чтобы понять лестное для себя сравнение. Какое-то мгновение я разглядывал собственное отражение и вдруг увидел в стекле глаза женщины. Она улыбнулась. Мне было жалко оставлять недопитую воду, и я допил ее, но уже без всякого удовольствия. В стекло я больше не смотрел, но все равно знал, что женщина на меня смотрит. Я поставил на стойку стакан и побежал. Я бежал до самого дома, и это привычное расстояние показалось мне необыкновенно длинным. Я старался не смотреть на прохожих, стыдясь своей наготы.

Дома не было большого зеркала. Я разглядывал себя по частям в настольное: сначала ноги, потом живот, грудь... До

этого я не замечал своего тела, просто не думал о нем. Оно отлично служило мне во время игр, и этого было вполне достаточно. Теперь у меня появился к нему какой-то жгучий интерес, которого я стыдился. В тот день я больше не выходил из дома. Я сидел у окна и ждал мать. И как только она вошла в комнату, сказал:

– Ходить в плавках я больше не буду.

– Что случилось?

– Ничего. Но ходить в плавках я больше не буду.

– Ничего, походишь.

Мама не была злой. Просто нам трудно было жить вдвоем на ее зарплату. Мое категорическое заявление застало ее врасплох. Самолюбие матери мешало ей признать, что она не может дать сыну того, в чем он действительно нуждался. За ужином я обычно рассказывал маме о своих дневных делах и похождениях. Но в тот вечер молчал. О том, что произошло со мной, я мог бы рассказать только отцу или Сергею – мужу моей старшей сестры. Но отца у меня давно не было, а Сергей и сестры работали на Крайнем Севере.

Утром я дождался, пока ушла мама, вытащил из комода брюки и вельветовую куртку. В них я ходил зимой в школу. Брюки оказались безнадежно коротки и сильно потерлись на коленях. Я взял ножницы и распорол манжеты. После этой операции длина брюк меня вполне устроила. Правда, внизу болталась бахрома и цвет брюк под манжетами оказался значительно темнее, но это меня мало беспокоило. Хуже обсто-

яло дело с ботинками: они ссохлись и вообще не налезали на ногу. В ящике со старой обувью я отыскал летние туфли Сергея. Верх был почти целый, но подошвы протерлись насквозь. К тому же туфли были мне широки. Но это все мелочи. Зато мою наготу надежно прикрыли черные когда-то брюки с проступившим на них грязно-рыжим оттенком, коричневая куртка и широконосые туфли, в которых ноги мои болтались, как в галошах. В этом наряде я в то утро впервые появился на улице и носил его в тридцатиградусную жару до тех пор, пока сестры не прислали мне новый полотняный костюм и сандалии.

Жизнь курортного города с ее обнаженной интимностью, которую отдыхающие даже не пытались скрывать, рано пробудила в нас интерес к девчонкам. Сашка и Витька подружились с Катей и Женей еще в восьмом классе. А я обратил внимание на Инку в прошлом году. Вернее, я обратил внимание на Инку сразу, как только она поступила в нашу школу (они приехали с Дальнего Востока), но первое время я нравился Инке больше, чем она мне. Катя носила мне Инкины записки, которыми я зачитывался, но на них не отвечал. Я оберегал свою независимость. С меня было достаточно, что Сашка и Витька ее потеряли. Но когда Инка пригласила меня на свой день рождения, я пошел. Это была, конечно, ошибка, потому что с того вечера я больше не мог притворяться.

Конец школьных занятий совпадал с открытием курортного сезона. Мы вливались в праздничную сутолоку горо-

да и растворились в ней до самозабвения. С утра пляж, потом курзал, а после концерта купание в черной и теплой воде, над которой белыми холодными огоньками вспыхивали брызги. Но самым острым удовольствием для нас была игра в волейбол в каком-нибудь санатории. Физруки санаториев хорошо знали силу нашей школьной команды, капитаном которой был Сашка, и, чтобы доставить удовольствие своим отдыхающим, охотно приглашали нас к себе. Нам нравилось, что о каждой игре сообщали афиши, которые вывешивались перед входом в столовую. Посмотреть на шестерых коричневых от загара мальчишек, в невероятных бросках и падениях вытаскивающих «мертвые» мячи, собиралось много отдыхающих. Наши девочки, конечно, были среди зрителей, подчеркнуто не замечая их: наши подруги умели достойно делить с нами и нашу славу, и горечь поражений.

Вот и вся коротенькая предыстория о нас и о нашем городе.

## 2

В ту весну мы кончили десятый класс.

Я часто говорю «мы», потому что я, Витька и Сашка одновременно были и очень разными, и очень похожими друг на друга.

У каждого из нас были планы на будущее, обдуманнные вместе с родителями. Я, например, собирался стать геологом, потому что геологом был Сергей. Сашка Кригер должен был пойти в медицинский институт, потому что врачом был его отец. Витька Аникин хотел стать учителем: при Витькином терпении и доброте лучшую профессию трудно было придумать.

Интересно, что бы я сделал, если бы в тот день, когда мы сдавали математику, кто-то сказал, что через час вместо горного института я соглашусь пойти в военное училище? Сам не знаю. Наверно, отвел бы того, кто это сказал, к психиатру. В городе у нас был отличный психиатр, к нему специально приезжали лечить прогрессивный паралич. Правда, говорили, что в прошлом он сам был сумасшедшим, но, по-моему, каждому врачу не мешает побывать в шкуре больного. Короче говоря, решая биквадратное уравнение, я меньше всего думал об армии.

Мы знали из газет, что военная служба в нашей стране стала профессией. Об этом много писали в прошлом году,

когда в армии ввели «персональные воинские звания». Но при всем своем самомнении мы не догадывались, что реформы в армии могли иметь к нам какое-то отношение.

Об армии мы имели самые общие представления, потому что по природе своей были мальчишками мирными. За городом, на пустынном берегу залива, был аэродром морской авиации. На песчаной косе, в длинных казармах из желтого ракушечника, стояла какая-то артиллерийская часть. В июне на открытый рейд приходила из Севастополя эскадра. Она приходила неожиданно: утром в море, напротив пляжей, стояли корабли, которых накануне не было. Целый месяц в море слышались орудийные раскаты, похожие на отдаленный гром. По воскресеньям город заполняли белые форменки моряков, и город отдавал им все лучшее, что у него было.

В нашей школе работали кружки Осоавиахима<sup>2</sup> – стрелковый и парусный. Мы, конечно, занимались в обоих и гордились своими успехами: они помогали утвердить наше мужское самосознание. Но к военным занятиям мы относились как к увлекательной игре.

Из нас троих я был наиболее близок к армии: отец моей Инки был морским летчиком. Он по целым дням пропадал на аэродроме, и все у них дома жили ожиданием его. Он был простым и веселым человеком, но опасность его профессии

---

<sup>2</sup> *Осоавиахим* – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, существовавшее в СССР в 1927–1948 гг.

создавала вокруг него ореол необыкновенности. Я часто бывал у Инки дома. Ко мне ее отец относился с насмешливой доброжелательностью и называл меня женихом. Он любил свое дело, постоянно рассказывал о разных случаях во время полетов и, когда узнал, что я собираюсь стать геологом, сказал:

– Ну что ж, геологи – тоже люди. У них работа почти как у летчиков – заплывать жирком не дает.

\* \* \*

Я проверил решение уравнения. Сашка еще что-то писал. Значит, у меня был шанс сдать контрольную первым. Тогда до следующего экзамена я мог бы пить за Сашкины деньги газированную воду с сиропом в неограниченных количествах. Я подчеркнул ответ жирной чертой и посмотрел на директора школы: он преподавал в нашем классе математику.

– Кончил, Володя? – спросил он.

Я встал и пошел по проходу. Директор взял мой листок и сверил ответы:

– Надеюсь, решения также безукоризненны?

Я пожал плечами и засмеялся:

– Стараюсь, Виктор Павлович.

– Вас вызывает к двенадцати часам Переверзев.

Кого «вас» – директор не уточнял: это и так было понятно.

Но зачем мы могли понадобиться Переверзеву?

Я вышел в светлый коридор с большими окнами и сел на подоконник. Если бы Алеша вызывал только меня, я бы не удивился. Мало ли зачем я мог ему понадобиться: до недавнего времени я был секретарем комитета комсомола школы – меня переизбрали перед самым экзаменом, – но для чего он вызывал Витьку и Сашку?

Алеша Переверзев был секретарем городского комитета комсомола. Мы хорошо знали Алешу: три года назад он окончил нашу школу. Он был хорошим оратором. Он вообще был дельным парнем, но оратором он был особенным. Он мог произнести речь по любому поводу. Например, я отлично помнил его речь о вреде сусликов. Он произнес ее в девятом классе, когда вся школа готовилась выступить против них в поход. Он открыл нам глаза на паразитическую жизнь сусликов – этих коварных врагов молодых колхозов и советской власти. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, Алешина речь против сусликов решила его судьбу: на собрании был секретарь горкома партии, и речь ему очень понравилась.

В коридор вышел Сашка.

– Зачем мы понадобились Алеше? – спросил он и подозрительно посмотрел на меня выпуклыми глазами.

– С таким же успехом я могу спросить об этом тебя.

– Хорошенькое дело! Ничего себе секретаря терпели: он не знает, зачем его вызывает начальство.

Витька тоже вышел в коридор и теперь стоял рядом с нами.

– Может, опять субботник на стадионе? – спросил он.

– Во время экзаменов? Надеюсь, такое не придет в голову даже Алеше. – Сашка снова подозрительно посмотрел на меня.

– Зачем гадать? Пойдем и узнаем. Кстати, очень хочется пить. Я выпью ведро.

– Чистой? – спросил Сашка.

– Чистую будешь ты пить. Мне больше нравится с сиропом.

\* \* \*

В оконном стекле переливалось синее море и плыли белые облака. От окна к двери тянулась широкая полоса солнца. Письменный стол и солнце отделяли нас от Алеши. Когда ветер шевелил створку окна, солнце скользило по полу, ложилось на угол стола и на наши ноги с поднятыми коленями: мы сидели на низком клеенчатом диване с продавленными пружинами. На диване еще сидел Павел Баулин – матрос из порта, старше нас года на три. Мы были мало знакомы с этим широкоплечим парнем в брюках клеш и полосатой тельняшке и знали его только как местную знаменитость: Павел был чемпионом Крыма по боксу. Мы сидели и слушали сначала военкома, теперь Алешу.

Алеша нагнулся над столом, и ладони его упирались в обтянутую зеленым сукном крышку.

– Вы поняли, что сказал военком? – спросил Алеша.

Как всякий хороший оратор, Алеша предполагал худшее: он не доверял нашей сообразительности. А может быть, ему казались неубедительными слова военкома, сухие и лаконичные. Военком сидел в прохладной тени, положив локоть на край стола, и пристально разглядывал носки сапог.

– Речь идет о большой чести, – сказал Алеша, – о великом доверии, которые партия и комсомол готовы оказать вам, мальчишкам, еще не сдавшим экзаменов за среднюю школу.

Алеша замолчал. Он внимательно вглядывался в наши лица, пытаясь угадать, что происходит у нас в душе. Для этого не нужно было особенной проницательности: мы изо всех сил старались казаться серьезными, но все равно не могли сдержать самодовольные улыбки и скрыть возбужденный блеск глаз. Проще всего было Сашке: ему не надо было притворяться. Серьезным Сашку никто не видел от рождения, а его выпуклые глаза блестели всегда. Сашка сидел слева от меня, выставив вперед свой горбатый нос и острый подбородок. Другое дело – Витька. Он толкнул меня в бок локтем. Я оглянулся. Он сидел между мной и Баулиным и толкнул меня случайно: я это понял по его лицу. Витька смотрел на Алешу и улыбался открытым ртом. Это по наивности. Витька был очень наивный. Сколько Сашка его ни воспитывал – ничего не получалось.

– Вы стоите на пороге большой жизни, – говорил Алеша. – Комсомольская организация города предлагает вам начать

свой самостоятельный путь там, где вы принесете больше пользы делу партии. – Алеша разошелся, как будто выступал на городском митинге. – Мы не собираемся экспортировать революцию. Но за рубежом враги мечтают о реставрации в нашей стране старых порядков. Они готовятся напасть на нас. И вот тогда вы поведете войска первого в мире рабоче-крестьянского государства. В армию все больше призывают юношей со средним образованием. Старые командные кадры, опытные в военном деле, уже не могут полностью удовлетворить духовных запросов бойцов.

В этом месте Алешиной речи мы посмотрели на военкома и почувствовали свое превосходство над этим пожилым майором с морщинистым, грубоватым лицом, с широкими скулами и тяжелым нависающим над глазами лбом. На левом рукаве его отутюженной гимнастерки вспыхивали золотые шевроны, а на правом рукаве золото тускло поблескивало в тени.

– Да, товарищи, современная техника требует от бойцов и командиров всесторонних знаний, – гремел голос Алеши, не знающий снисхождения. – Комсомол – первый на стройках пятилеток. Комсомол должен быть первым в строительстве вооруженных сил. Вот почему мы решили обратиться к вам, лучшим из лучших, с призывом идти в военные училища. Подумайте, через три года вы будете лейтенантами. – Алеша сделал паузу, и в комнате, перерезанной солнечным лучом, стало тихо.

Легко сказать – подумайте! Алеша просил нас о том, на что мы совершенно не были способны в эту минуту.

– Теперь вы знаете, зачем мы вас пригласили. Слово за вами, – сказал Алеша обычным, неораторским голосом. Он сел на старинный стул с высокой резной спинкой.

Стул этот был такой старый, что его давно стоило выбросить. Я думаю, Алеша этого не делал из-за спинки: другого стула с такой спинкой не было во всем городе.

– Наверху ваши кандидатуры согласованы, – как бы между прочим сообщил Алеша и показал большим пальцем на потолок.

Мы поняли, что значит «наверху»: как раз над нами был кабинет Колесникова – первого секретаря горкома партии. Алеша повернулся к военкому, спросил:

– Заявления нужны сейчас?

Прежде чем ответить, военком посмотрел на нас:

– Важно согласие. Заявления напишут после экзаменов. Оценки играют не последнюю роль. Кандидаты должны иметь только отличные и хорошие оценки.

– На этот счет будьте спокойны, – сказал Алеша.

Мы не смотрели друг на друга. Как все мальчишки, мы были самого высокого мнения о своих способностях и о себе. Мы были самолюбивы и дерзки. И вдруг оказалось – имели на это право. Алеша назвал нас «лучшими из лучших», в нас нуждались партия и государство. Даже мы, привыкшие к похвалам, такого не ожидали. Военком тихо переговаривался

с Алешей, и я не слышал слов. Я вообще ничего не слышал. Мне еще никогда не приходилось принимать такое важное решение. Что-то скажет теперь Инкин отец? А что скажут мама, сестры, Сергей? Но больше всего я думал об Инке и ее отце. Конечно, «думал» – не то слово: просто их лица чаще мелькали у меня в голове.

– Ждем, – сказал Алеша. – Решайте.

Мы молчали, готовые согласиться, смутно догадываясь, насколько серьезно то, чего требовали от нас, как изменится все наше будущее после короткого слова «да» и сколько беспокойства войдет в нашу жизнь.

– Предположим, я скажу «да». Приду домой, а мои папа и мама скажут «нет»?.. – Это сказал Сашка. Он начал говорить сидя, но потом, взглянув на военкома, встал и загородил солнце.

– Кригер, тебе же восемнадцать лет. Вспомни, как в твои годы уходили комсомольцы на фронт. Напомни об этом своим родителям, – сказал Алеша.

Напоминать об этом Сашкиным родителям не имело смысла: они никогда не были комсомольцами и ни на какую войну не уходили. Алеша это знал не хуже Сашки. Поэтому Алеша добавил:

– Какой же ты комсомолец, если не сумеешь убедить родителей?

– Я говорю «да», – сказал Сашка. – А моих родителей мы будем убеждать вместе. – Сашка сел, как будто согнулся по-

полам, и полоса солнца легла на его колени.

По Сашкиному тону я понял: в согласии родителей он по-прежнему сильно сомневался. Я тоже сомневался: не в своей маме, а в Сашкиных родителях. В своей маме я был уверен. Поэтому, когда Алеша посмотрел на меня, я сказал:

– Согласен.

– Понятно. – Алеша нагнулся к военкому, сказал: – Это Белов, Надежды Александровны сын.

Военком закивал головой и посмотрел на меня.

– Твое слово, Аникин, – сказал Алеша.

Витька покраснел, и на лбу у него выступили капли пота.

– Я тоже согласен, – сказал Витька.

– Сколько платят лейтенанту? – Это спросил Павел Баулин. У него был сипловатый бас, и говорил он, сильно растягивая слова. Павел сидел, откинувшись на спинку дивана. Тяжелая рука его свободно лежала на валике: в такой же расслабленной позе, раскинув ноги, он обычно отдыхал в своем углу на ринге.

Алеша приподнял плечи и чуть развел над столом руки: жест достаточно откровенный. Но Павел смотрел не на Алешу, а на военкома.

Прежде чем ответить, военком встал.

– В армии денежное довольствие начисляется не по званию, а по должности, – сказал он. – Вас после окончания училищ назначат на должность командиров взводов...

– Это не важно. Какое жалованье у командира взвода? –

спросил Баулин.

– Шестьсот двадцать пять рублей, – ответил военком. – А перебивать старших в армии не положено.

– Подходяще! – Павел посмотрел на Алешу. – Запиши: я согласен.

– Повестка дня, как говорится, исчерпана, – сказал Алеша и поднялся. Мы тоже встали. – Заявления принесете в горком сразу после экзаменов. Между прочим, я тоже иду в военное училище...

Как опытный агитатор, Алеша приберег свое сообщение под конец. Он ждал от нас радости, и мы действительно обрадовались. Мы привыкли к Алеше и были уверены, что с ним не пропадем.

### 3

Из горкома Витька и Сашка ушли на пляж, где их ждали Катя и Женя. А мне надо было зайти за Инкой в школу: у нее был письменный экзамен.

В школе ее, конечно, не оказалось. На спортивной площадке в углу широкого двора мальчишки играли в волейбол. Я подошел к девочке из Инкиного класса:

– Ты не видела Инку?

Девочка стояла на краю площадки и смотрела игру.

– Видела, – сказала она и даже не повернула ко мне головы.

– Когда?

– Ну, полчаса, час – не помню...

– Куда она делась?

– Пошла в горком комсомола.

С Инкой всегда так: договоришься встретиться в одном месте, а ее понесет в другое. Я обозлился:

– Почему ты сразу не сказала?

– А почему ты сразу не спросил?

Мальчишки слева играли лучше. Погашенный мяч ударился о землю на правой стороне площадки. Девочка резко повернулась ко мне.

– Что ты пристал? – спросила она. – У меня только и забот что караулить Инку!

Ну что было спрашивать с этой отягощенной заботами девчонки?

– Не волнуйся, они все равно проиграют, – сказал я и пошел к воротам. Мне так нужна была Инка. Мне так необходимо было рассказать ей, зачем меня вызывали в горком. Но снова идти в горком не имело смысла: ее наверняка там давно не было.

Я постоял на улице. Бархатно-черные тени акаций резко отделялись от выбеленной солнцем мостовой. На другой стороне тянулась низкая ограда порта. За пологой кромкой берега неподвижно переливалось море. И на желтом песке чернели просмоленные борта парусно-моторных баркасов.

Все еще не зная, куда идти, я пошел по улице. Инка догнала меня на углу и, часто дыша, забросала словами:

– Я уже все знаю... Я так бежала, так бежала! Я обегала весь город. – В этом она могла меня не уверять: представить ее спокойно идущей по улице, когда она меня ищет, было просто невозможно. – Наши на пляже. Женя устроила Витьке скандал: она боится, что его пошлют в город, где нет консерватории.

Инка торопилась выговориться, пока я ее не остановил.

– Ты только подумай, – говорила она, – папа и ты – вы оба военные. Папа, наверное, получит капитана. Его аттестовали на майора, но он говорит, что получит капитана...

Был единственный способ остановить поток Инкиных слов:

– Ты откуда сейчас появилась?

– Из школы.

– А как ты попала в школу? Через забор?

– Не могла же я обегать целый квартал. Ты подумай, я заглянула через забор – увидела Райку. Она злющая оттого, что проигрывает Юрка. Райка сказала, что ты только что вышел на улицу.

Из ворот вышли учителя, и, чтобы не встречаться с ними, мы повернули за угол. Я шел немного впереди, Инка даже не пыталась меня догнать: она прекрасно видела, что я злюсь.

– Почему не ждала меня в школе?

– Я ждала, знаешь, как долго ждала. Я так долго ждала, что просто не могла больше ждать.

Когда я говорил, мне, чтобы видеть Инку, приходилось поворачивать голову. Каждый раз, когда я это делал, я встречал ее взгляд.

Я никогда не видел расплавленного золота, но был уверен, что оно такого же цвета, как Инкины глаза. Такие глаза, как у Инки, я видел еще у рыжих собак. Инка тоже была рыжая – вся рыжая, от пышных волос и крупных веснушек вокруг носа до золотистого пушка на ногах.

Долго злиться на Инку было просто невозможно. Я замедлил шаг, и Инка пошла рядом со мной, как будто ничего не заметила.

Теперь говорил я. Никто так, как Инка, не мог меня слушать. Я рассказывал Инке все, что меня занимало. Если она

понимала меня, то это означало, что все, о чем я говорил, додумано мной до конца. Когда она переставала слушать, я улавливал в своих словах противоречия, умолкал и не мог успокоиться, пока не разрешал их. Своей железной логикой, которую так хвалили учителя, я был обязан Инке.

– Я просто не знал, что могу стать военным, – говорил я. – Тут даже сравнивать нечего: геолог и военный. Командир совмещает в себе очень много профессий. Во-первых, учителя – командир должен обучать подчиненных. Во-вторых, инженера – в армии сейчас столько техники. В-третьих, надо очень хорошо знать историю. Кто знает, может быть, битва при Каннах поможет выиграть решительное сражение за коммунизм? А может быть, и не при Каннах, а под Верденном, или, скажем, военные реформы Македонского подскажут новую организацию армии...

Я говорил так, будто всю жизнь мечтал о профессии военного и досконально изучил все ее особенности. Точно так же совсем недавно я доказывал преимущества профессии геолога. Но какое это имело значение? Главным для меня было убедить себя и Инку, что нет ничего удивительного в моем решении изменить свое будущее: больше всего я боялся показаться в Инкиных глазах легкомысленным. Все, что я говорил, пришло мне в голову по дороге из горкома до школы, пришло потому, что все это я уже читал в газетах, слышал от военкома и от Алеши Переверзева. Но эти мысли уже стали моими, я подпал под их влияние, они начали руководить

моими поступками.

– В военном училище учатся всего три года, правда? – спросила Инка.

– Да...

– Значит, не через пять лет, а через три года ты уже будешь совсем-совсем самостоятельным?

– Конечно...

– Ты знаешь, Володя, я порочная... Я спросила у мамы, когда мне можно будет выйти за тебя замуж, а она сказала, что пока ты не станешь самостоятельным, даже думать об этом порочно.

Инка сбоку из-под ресниц поглядела на меня: ей, видите ли, необходимо было удостовериться, какое впечатление произвели ее слова.

Я весь покрылся испариной: мне стало понятно, почему Инкин отец называл меня женихом. Я сдвинул брови – от этого Инка всегда приходила в трепет.

– Ну что я такого сказала, что я сказала? – быстро заговорила Инка. – Разве я виновата, что мне без тебя бывает очень скучно? Через три года ты уже будешь лейтенантом. Тебе будет только двадцать один год, а ты уже лейтенант! Ты будешь жить в Севастополе или Кронштадте, а может быть, во Владивостоке... И я к тебе приеду. Нет, ты лучше заедешь за мной... Нет, лучше я, а ты будешь встречать меня на вокзале с цветами.

– Романтика! – небрежно сказал я, изо всех сил стараясь

удержать грозное положение бровей, но они предательски расползались.

Мы шли по центральной улице. Идти на пляж было уже поздно. Улица пряталась в густой тени акаций, а там, где солнце пробивало тень, на стенах домов выступали ослепительно-белые пятна. Узкий тротуар заполняли прохожие. Казалось, они просто гуляли, и когда заходили в магазин, то было похоже, что они делают это так, ради любопытства. Им не было никакого дела до нас, так же как и нам до них.

Потом мы сидели на Приморском бульваре. Наша скамья стояла у самого края набережной. Море вспухало и опадало внизу у наклонной стены, то бесшумно вползая на нее, то ударяя. И удары были похожи на ласковые шлепки. Плавали бурые комки прошлогодних водорослей, окурки, клочки бумаги. Они то поднимались, то опадали, оставаясь на месте. Горизонт закрывала белесая пелена, прорезанная косыми полосами: с моря надвигался дождь, а над городом по-прежнему светило солнце.

Я вспомнил, что не узнал у Инки главного.

– А как ты написала сочинение? – спросил я.

Инка махнула рукой:

– Написала...

Мы по опыту знали, что одной из неперменных тем сочинений на экзаменах в восьмом классе бывает «Евгений Онегин – лишний человек». Из педагогических соображений мы советовали Инке выбрать именно эту тему. Витька

вчера весь вечер репетировал Инку. Надо было быть просто тупицей, чтобы после этого не написать сочинения хотя бы на «хорошо». Но от Инки всего можно было ожидать.

– Инка, скажи по совести, как бы ты хотела жить? Ну что бы ты делала охотно, без нажима?

– А ты снова не разозлишься? По совести, я бы ничего не делала. Нет, конечно, я бы делала, но только то, что весело. Я хочу, чтобы всегда было лето, чтобы было тепло, чтобы я была самая красивая и чтобы было весело... И конечно, чтобы ты всегда был со мной, и чтобы уже прошли три года, и чтобы нам не нужно было расставаться... – Инка посмотрела на меня и рассмеялась. А глаза ее говорили: знаю, что ты сейчас ответишь.

– Программа не очень определенная, – сказал я. – Но я все понимаю, и, допустим, мне она даже нравится. Совсем неплохо, когда весело. Но если все захотят так жить, то кто же будет работать?

– Ведь я же учусь, – сказала Инка. – Сегодня я писала сочинение, через два дня сдам математику. Но ты спрашиваешь «по совести». Я тебе по совести и сказала.

Инка подняла вытянутые ноги, плотно сдвинула ступни. Она умела показать все, что было в ней красивого: она носила туфли-лодочки на низком каблуке, чтобы подчеркнуть естественный изгиб подъема, а чтобы видны были ее зубы, постоянно держала рот приоткрытым, даже когда не смеялась. Ей было шестнадцать лет, но тем, кто этого не знал,

она говорила, что ей восемнадцать. Такая уж была моя Инка, и все равно я ее очень любил. Я смотрел на Инкины ноги, уже тронутые загаром. Белые шелковые носки туго стягивали щиколотку. Ноги у Инки были полные и сильные. Они всегда мне нравились. Инка опустила ноги, но я все равно смотрел на них.

– Не смотри так, – тихо сказала Инка.

Я не знаю, как я смотрел. Но знаю, что мне хотелось поцеловать Инкины ноги, а этого я еще никогда не хотел.

– Ты сказал – это романтика, – сказала Инка. – А как ты сам думаешь?.. Как все, по-твоему, будет?

Что я мог ответить Инке? Радость всегда мешает видеть жизнь такой, как она есть. Впереди, мне казалось, меня ждет только радость, радость неизведанного и непознанного. Мне казалось, что за некоей воображаемой чертой только и начнется настоящая жизнь. Так всегда кажется в восемнадцать лет, а в сорок оказывается, что настоящие радости прожиты именно тогда и что самой большой была радость ожидания.

– Ладно, Инка, – сказал я. – Я буду работать и за тебя и за себя. Ты только должна кончить школу. А потом просто будешь моей женой, как твоя мама...

– А как бы ты хотел по совести: просто или не просто?

– Нет, Инка, по совести я бы хотел, чтобы не просто.

На соседней скамье сидели курортники. Мужчина развертывал дорогие конфеты и кормил ими женщину. Она раскрыла рот, и он положил в него конфету. Женщина прижа-

ла конфету зубами так, что половина ее осталась снаружи, и, раздвинув губы, повернулась к мужчине. Он осторожно приблизил рот к ее губам и откусил конфету. Женщина сказала:

– Слышите, как пахнет морем и акацией?

– Они тебе нравятся? – спросила Инка.

– Нет.

– Но ты только что смотрел на мои ноги так же, как он, – сказала Инка.

Я покраснел:

– Тебе было неприятно?

– Не знаю... Мне было немного страшно и немного стыдно. А если бы этого не было, мне было бы, наверно, приятно.

Дождь с шумом приближался по воде. Первые капли прошуршали в листьях деревьев, оставляя на песке мокрые пятна. Люди побежали под деревья и тенты над витринами магазинов. Ушли и наши соседи. На опустелом бульваре остались Инка и я.

## 4

Домой я бежал. Мокрая рубашка на мне подсохла и больше не прилипала к телу. А я все равно бежал. Зачем? Я бы хотел, чтобы мне самому это сказали.

Мама дома не было и не могло быть: она не приходила раньше восьми часов. Я вошел в гулкую от пустоты квартиру, прошел кухню, просторный коридор – свет в него падал сверху, через узкое окно над парадной дверью, – вошел в комнату. Я открыл окно, но и на улице в этот час было еще пустынно и тихо.

Почему наша квартира выглядела пустой, я не могу понять до сих пор. Мебели у нас было не так мало. Например, в моей комнате стояли узкая кровать, обеденный стол, кабинетный диван. Дерматин на нем весь потрескался, но был совершенно целый. У нас даже был буфет – громоздкий, с разноцветными стеклами, а у мамы в комнате – туалетный столик красного дерева. Я не помню, чтобы мама к нему подсаживалась, но столик был. И все равно квартира казалась пустой. Даже воздух в ней был какой-то нежилой – холодный и гулкий.

Я постоял посреди комнаты. Хуже нет, когда все в тебе торопится, а торопиться некуда. Я вышел в кухню. В эмалированном тазу лежала гора посуды: мама мыла посуду, когда в буфете не оставалось ни одной чистой тарелки. Кажет-

ся, тарелки в буфете еще были, но я нагрел воду и перемыл всю посуду. Потом я подмел комнаты. Это была моя прямая обязанность. Но я обычно плохо ее выполнял. Я успокаивал свою совесть тем, что мама тоже неважно справляется с домашними делами. Она готовила сразу на три дня. А когда суп прокисал, говорила:

– Это никуда не годится. Готовишь из последних сил, а ты не ешь.

Интересно, как можно есть кислый обед? Я один раз попробовал, а потом три дня ничего не ел, только пил чай с сухарями. Говорили, что я еще легко отделался. Не знаю. По моему, не очень легко.

Я вынес мусор. Хотел даже почистить примус. Но он был покрыт таким толстым слоем жира и копоти, что до него дотронуться было противно. Я дотронулся, но чистить не стал, только обтер примус газетой. Вместо примуса я занялся почтовым ящиком: прибил петлю и навесил дверку. Удивительно, сколько дел можно переделать, когда надо убить время! А оно все равно тянулось медленно.

Я вернулся в комнату.

На другой стороне улицы стекла открытых окон блестели. Я сидел у открытого окна верхом на стуле. Подоконники были низкие. В комнату заглядывала мокрая улица. Пахло акацией и землей. Я вспомнил слова женщины: «Слышите, как пахнет морем и акацией?»

Странно, а я раньше не замечал запахов нашего города.

Наверное, потому, что давно привык к ним. А между тем город был просто пропитан запахами: весной пахло акацией и сиренью, летом – левкоями и табаком и всегда – морем. Теперь я уверен, что из тысячи городов узнал бы наш город по запаху.

Лучше бы я не вспоминал слова женщины. Как только я их вспомнил, сразу подумал об Инке. И все во мне снова куда-то заторопилось. Я хотел вспомнить, о чем мы говорили. Но ничего не получилось: все путалось и перескакивало с одного на другое. Я понимал: на Приморском бульваре что-то произошло. И мы уже не могли вернуться к прежним отношениям. А я и не хотел возвращаться. Я хотел поскорей узнать, что будет дальше. Но на это могло ответить только время. Мне ничего не надо было делать. Надо было просто ждать...

Теперь-то я знаю: просто ждать – не худшее, что есть в жизни. Но тогда я порывался бежать – все равно куда, лишь бы не оставаться одному в пустой квартире.

Я едва усидел на стуле. А руки мои расставляли на шахматной доске фигуры, сваленные в кучу на подоконнике. Я не помнил, как пришла мысль разобрать партию между Алехиным и Капабланкой... Но когда я почувствовал в руках тяжесть налитых свинцом фигур, мне сразу стало легче.

Капабланку я называл своим учителем. В душе мне больше нравился Алехин, но он был белым эмигрантом. В жизни со мной такое бывало: нравился мне, например, человек,

который, по моим понятиям, не должен нравиться, и я начал убеждать себя, что он недостойн моего внимания. Иногда мне это удавалось, чаще нет.

Финал партии мне был известен – я разбирал ее дважды: Капабланка проиграл. Меня это не огорчало. Но я поставил себе задачу найти ошибку экс-чемпиона и доказать себе, что победа Алехина случайна.

Не заглядывая в таблицу, я пытался найти очередной ход. Мозг мой вначале, как бы отдельно от меня, прощупывал возможности, скрытые в расположении мертвых фигур. Для меня они не были мертвыми: неожиданно наступала минута прозрения, когда я как-то вдруг проникал в ход чужих мыслей и легко следовал за ними, распутывая хитроумные сплетения взаимно враждебных замыслов. Но в тот вечер эта минута не приходила: я больше смотрел на улицу, чем на доску. На траве булыжной мостовой висели дождевые капли. В выбоинах тротуара, мощенного кирпичом, блестели слепые от заката лужи. Наступило время, когда, отдохнув после пляжа, курортники шли в курзал на Приморский бульвар. Сегодня они шли позже, чем обычно: помешал дождь. Когда они проходили мимо окон, я видел их с ног до головы. И еще раньше, чем они появлялись под окном, слышал их голоса и стук каблуков. Они проходили, и лишь ширина подоконника отделяла меня от них. В комнате гулко звучали их голоса.

В тот вечер я впервые почувствовал нежилую пустоту нашей квартиры. Она окружала меня с детства, но я не замечал

ее. На это у меня не хватало времени. Я редко оставался наедине с самим собой и никогда не задумывался над жизнью нашей семьи: моей, маминой, сестер. Я не задумывался над тем, почему матери моих друзей непременно усаживали меня за стол, куда бы я ни пришел. Я ел у них всегда с большим удовольствием и не замечал, что, подсовывая мне вкусные вещи, они жалели меня и, наверное, в душе осуждали маму, нашу неустроенную жизнь.

А жизнь наша была действительно неустроенной. Только тогда я это не понимал. Я гордился мамой, ее известностью в нашем городе. Гордился тем, что она вступила в партию еще до революции, сидела в царской тюрьме и даже отбывала ссылку. Сколько я ее помнил, она всегда очень много работала. В нашем городе она была председателем союза «Медсантруд». За эту работу она получала зарплату. Но у нее еще было много общественных нагрузок: несколько лет подряд маму выбирали членом бюро горкома партии и депутатом городского Совета. А два года назад она организовала Дом санитарного просвещения. Его никак не могли включить в смету городского бюджета, и Дом не имел фонда зарплаты. Заведовать им бесплатно никто не хотел. Поэтому Домом временно заведовала мама.

С тех пор как я начал помнить маму, она ходила в тужурке из мягкого коричневого шевро и таком же кепи с широким закругленным козырьком. Из-под кепи виднелись коротко постриженные вьющиеся волосы. Мамину тужурку до-

нашивал я, когда учился в восьмом классе, а с кепи мама не расставалась. Оно давно поблекло, покрылось трещинами и только впереди, под ремешком, сохраняло свой былой цвет. Волосы у мамы наполовину поседели, а лицо покрылось такими же, как на кепи, морщинками.

Я любил рассматривать одну фотографию: она хранилась в старой папке среди бумаг. Молодая женщина в старомодном платье с пышным подолом сидела на стуле. Узкие носки белых туфель выглядывали из-под пышного подола. Я не мог насмотреться на ее руки, удивительно тонкие и нежные. Она сидела очень легко и свободно, а глаза ее смотрели на меня удивленно и весело. Эта женщина тоже была моя мама. Но такой я ее не знал. За ее стулом выстроились в ряд трое мужчин. Один из них – с усами и высоким лбом – был мой отец, в то время студент-медик Московского университета. Сразу было видно, что он влюблен в маму. Он склонил голову и сбоку заглядывал ей в лицо, забыв, что его фотографируют. И как-то странно было знать, что этот совсем незнакомый мне человек – мой отец, что он, мама и сестры жили все вместе и о той их жизни я ничего не знал.

Мой отец умер, когда мне был год. О нем в моем присутствии никогда не говорили. А я почему-то стеснялся спрашивать. Я только догадывался, что мама не ладит с отцом, и мои сестры ее до сих пор осуждали. Потом у мамы был другой муж. Мы жили тогда не в Крыму. Его я помнил, но очень смутно. Он исчез как-то незаметно, и я не мог при-

помнить, как это произошло. Но с его исчезновением были связаны какие-то неприятности, о которых мама тоже никогда не говорила.

Сестры мои давно жили самостоятельно, работали в Заполярье и приезжали в отпуск раз в три года. Старшая, Нина, была замужем. Она вышла замуж, когда мы еще жили вместе.

Я полюбил Сережу раньше, чем он стал мужем Нины, и очень боялся, что он на ней почему-нибудь не женится. Они познакомились на пляже. На пляж с сестрами я обычно не ходил, но в тот день был с ними. Мы вместе купались, и я думал вначале, что Сереже нравится моя вторая сестра, Лена. Мне Сережа сразу понравился. В восемнадцать лет он уже командовал эскадром, и за бой под Оренбургом его наградили орденом Красного Знамени. Потом он учился на рабфаке<sup>3</sup>, кончил Промакадемию и уехал в Заполярье строить новый город. Все это я узнал, конечно, потом, а в тот день мы просто дурачились. Для меня Сережа был героем прочитанных книг. А кем был для него я, не знаю. Потом я догадался, но все равно не обиделся. Я только никогда не думал, что Сережа и Нина так быстро поженятся. Другое дело Лена. Тут бы я не удивился. Но Нина была у нас очень серьезная и, по-моему, некрасивая.

О том, что они поженились, я узнал случайно.

---

<sup>3</sup> *Рабфак* – рабочий факультет, учебное заведение для подготовки в вузы рабочей молодежи (1919–1940 гг.).

Как-то по дороге с пляжа Сережа сообщил, что у него кончилась санаторная путевка.

– Придется к вам переезжать, – сказал он.

Нина переглянулась с Леной, и Лена сказала:

– Володенька, сбегай купи мороженого.

Нашли дурака. Я, конечно, остался. Тогда Нина сказала при мне:

– Глупости! Мама выгонит из дома и тебя и меня.

– Не выгонит, – ответил Сережа.

После этого я сам сказал, что пойду за мороженым, и ушел. О чем они говорили без меня, я не знаю.

Вечером Сережа пришел к нам домой с чемоданом. До этого мама ни разу его не видела. Как только Сережа вошел в комнату, сестры выбежали во двор. Меня они тоже увели, но потом сказали, чтобы я потихоньку вошел в коридор и подслушивал. Я не только подслушивал. В приоткрытую дверь я видел маму. Она сидела за столом и улыбалась. Когда мама так улыбалась, сговориться с ней было очень трудно. Сережу я не видел. Я только слышал, как скрипнули пружины дивана.

– Надежда Александровна, вы не так меня поняли. Я не комнату пришел снимать, – сказал Сережа. – Надо бы, конечно, раньше зайти. Не получилось. Нина не пускала. Не пойму: почему они вас так боятся?

– Нина? Меня боятся?.. – Я видел, как на лице у мамы появились красные пятна. – Вы пьяны? – спросила она. – Кто

дал вам право являться ко мне в дом?

– Немного выпил, – сказал Сережа. – Разве заметно? Я вообще непьющий. А тут такое дело. Свататься мне еще не приходилось. Как это делается, не знаю. Скажу вам по-простому: отдайте за меня Нину.

– Немедленно убирайтесь, – сказала мама.

Но Сережа и не думал уходить, и правильно сделал. Я знал маму: она сама не хотела, чтобы он уходил. Она смотрела через стол и быстро-быстро гладила ладонью скатерть. Диванные пружины скрипнули громче.

– Уходить мне, положим, некуда, – сказал Сережа. – Санаторная путевка кончилась, а отпуск у меня еще два месяца. А потом, зачем мне от жены уходить? И вам не к чему преждевременно с дочерью расставаться. Она и так далеко от вас будет жить...

Я плохо помню, как очутился в комнате. Я стоял к Сереже спиной и смотрел на маму. Она медленно поднималась со стула. Так медленно, что я успел подумать: «Вот теперь мама его по-настоящему выгонит».

– Сережа! Немедленно уходи... – Это крикнула Нина, но все почему-то посмотрели на меня.

Как вошли сестры в комнату, я не заметил. Мама обошла стол. Глубоко запавшие черные глаза ее блестели, а губы улыбались. Она провела горячей ладонью по моему лбу и волосам и ушла в свою комнату.

Сережа остался у нас. Я сказал, чтобы он спал на моей

кровати, но Нина постелила ему на полу.

Сережа прожил у нас два месяца. Потом он, Нина и Лена уехали в Заполярье. Мама помирилась с Сережей перед самым отъездом.

С тех пор Сережа и сестры приезжали в отпуск два раза.

Сережа был старше Нины на десять лет, но, по мнению мамы, вел себя как мальчишка. Может быть. Лично я не видел в этом ничего плохого.

В день приезда, пока сестры скребли и отмывали квартиру, Сережа отправлялся на пляж. Тени он не признавал. Что из этого получалось, представить не очень трудно: вареный рак по сравнению с ним казался бледным. Вечером Сережа отлеживался в трусах на вымытом полу, а сестра мазала его сметаной. На другой день, с пузырями на плечах, он снова отправлялся на пляж. Мама называла это безумием и распущенностью. А Сережа говорил:

– Предрассудки. Я приехал, чтобы как следует прогреться. И прогреюсь!

В нашей компании Сережа всем пришелся по душе. Он был таким же, как мы. Но особенно Сережа нравился Инке – наверно, потому, что тоже был рыжим. Все дни мы проводили вместе. Мы учили его управлять парусом, и он не обижался, если кто-нибудь из нас на него покрикивал. Нина считала себя слишком взрослой для нашей компании. Тем хуже для нее. Сережа ей об этом так прямо и сказал. А Лена бывала с нами. И я просто не понимал, почему Сережа женился не

на ней.

Я многого не понимал. Например, я видел: мама побаивается Сережу. Почему – я не знал. Она поучала его так же, как и нас, но при этом никогда не настаивала на своем. А Сережа, наоборот, изображал себя покорным зятем, но, когда разговаривал с мамой, было похоже, что он ее поддразнивает.

В последний раз Сережа и сестры приезжали в то лето, когда мама открыла Дом санитарного просвещения. Я подозревал, что мама торопилась его открыть к их приезду. О маме и ее Доме писали городская и областная газеты. Когда мы все вместе собирались за ужином, главным предметом разговора был Дом. Только Сережа ничего о нем не говорил. Дом его не интересовал – это сразу было видно. Когда Нина как-то сказала: «Хорошо бы пойти его посмотреть», Сережа тут же придумал поехать с ночевкой на остров Черепахи. В тот раз на остров мы не поехали, но и Дом не пошли смотреть.

Мама не выдержала.

– Сергей Николаевич, – сказала она, – неужели, кроме развлечений, вас ничего в нашем городе не интересует?

– Я на курорте, Надежда Александровна. Отдыхать тоже нелегко.

Мама обиделась. Это все заметили. Когда она ушла спать, Нина сказала:

– Вот что, курортник, хочешь или нет, а завтра пойдем смотреть Дом.

Завтра мы собирались идти на яхте к острову Черепахи.

Сереза тоже собирался. Он смотрел на сестру печальными глазами.

– Ничего, ничего, переживешь, – сказала она.

– Придется пережить, – ответил Сереза.

Я бы не пережил. Но Сереза никогда не спорил с Ниной, если она о чем-нибудь его серьезно просила. За это я любил его еще больше.

Утром мы ушли в море без Серези.

Вечером я его спросил:

– Понравился тебе Дом?

На крыльце, куда он вышел покурить перед сном, мы были одни. Он не спешил ответить.

– Понравился тебе Дом?

– Ничего, много фотографий. Диаграммы очень красивые – цветные. Хороший песок на острове? Мы еще вместе туда ходим.

От огонька папиросы лицо Серези казалось красным.

– Ты со мной говоришь как с мамой.

– Тебе кажется.

– Что ты сказал маме про Дом?

– То же, что тебе.

– А говоришь, кажется. Зачем все время дразнить маму?

– Чудак ты, Володька. Ведь она мне теща. Может быть, у китайцев по-другому. А на Руси испокон веку теща с зятем живут как собака с кошкой.

Сереза выбросил окурок и встал.

– Нет, постой, – сказал я.

– Спать, спать, братишка, пора...

Отношения между Сережей и мамой совсем испортились. По-моему, они стали хуже, чем были, когда Сережа и Нина только поженились. Мама с Сережей почти не разговаривала. А если им случалось о чем-нибудь перемолвиться за столом, я сразу настораживался. Я боялся, что они поругаются и тогда мне придется выбирать, на чьей я стороне. А я сам этого не знал.

Сережа и сестры прожили у нас до августа. Мы по-прежнему собирались все вместе только за ужином. И то короткое время, когда мы сидели за столом, казалось мне мучительно длинным.

Однажды Лена рассказывала, как Сережа отбивался от предложенной ему работы секретаря горкома партии нового заполярного города. Кто ее об этом просил, не знаю. Лене всегда больше всех было нужно. Она хотела, чтобы мама поняла, как Сережу уважают на работе. Но мама поняла все наоборот. Перед нею стоял до половины выпитый стакан чая. Она больше не пила, а внимательно слушала. Мама прикрыла глаза, и это больше всего меня тревожило: по глазам я бы сразу мог узнать ее настроение.

– Этого я даже от вас не ожидала, – сказала мама и отодвинула стакан.

– Что поделаешь, Надежда Александровна, я геолог. И люблю свое дело.

– Допустим. Но партия считала нужным использовать вас на другой работе. Какое право вы имели отказаться?

– Товарищи из крайкома ошибались. Секретарем горкома выбрали другого инженера. Я с ним учился в Промакадемии. Инженер он неважный. Зато организатор каких по-искать. При нем за год сделали столько, что за пять лет не сделать.

– Я не сомневаюсь, что коммунисты нашли достойную замену вашей кандидатуре, – сказала мама. Она встала из-за стола. Глаза ее блестели, а губы улыбались – хуже нет, когда у мамы было такое лицо. Мама что-то еще хотела сказать, но посмотрела на меня и ушла в свою комнату.

Вслед за Сережей я вышел на крыльцо. Сережа курил.

– Опять не угодил, а ты говоришь, – сказал Сережа.

Меня не так поразили его слова, как голос – усталый и мрачноватый. Я сел рядом с ним, и он положил руку на мое плечо.

– Ты не любишь маму, почему? – спросил я.

– Стоит ли об этом?

– Стоит. Ведь я ее сын.

– Ты прав. Пожалуй, стоит. «Не люблю» не те, Володька, слова. Вот ты, Нина, Лена – вы для меня родные, а она нет. И тут ничего не поделаешь.

– Наверно, мама тоже так чувствует...

– Наверно...

– Жалко. Вы оба коммунисты. Оба воевали за советскую

власть.

– Это, Володька, другое. Мы и теперь будем вместе. Только я не могу стать другим, и Надежда Александровна не может. Такое, братишка, в жизни бывает. Ты не расстраивайся.

Сережина рука крепче сжала мое плечо. Я прижался спиной к его груди и затих.

То, что он и мама – люди разные, я без него видел. Мне это не мешало любить обоих, а им почему-то мешало. Я мог бы спросить Сережу почему, но не спросил. Я догадывался: он бы все равно не сумел мне ответить.

От нас Сережа и сестры уезжали в Москву, оттуда в Ленинград, а потом собирались заехать в Оренбург, к Сережиным родным.

Накануне отъезда они ушли в город за покупками и обещали вернуться через час. Я прождал два часа. Мне, конечно, ничего не стоило их разыскать. Но зачем? Я нарочно ушел на дикие пляжи, чтобы с ними не встретиться.

Домой я прибежал к ужину. Все уже сидели за столом и молча ели. Никогда у нас не было так тоскливо, как в тот вечер.

Мама ушла в свою комнату. Сестры сидели за неприбранным столом и без конца повторяли, что хотят спать, но спать не ложились. Когда я был меньше, а им нужно было о чем-то поговорить с мамой, они силой загоняли меня в постель. Попробовали бы теперь. Я злорадно на них поглядывал, а потом сообразил: лечь спать – лучший способ узнать, о чем

они хотят говорить с мамой.

В комнате потушили свет. Сестры ходили, прислушиваясь к моему дыханию, и в темноте белели их платья.

– По-моему, не спит, – шепотом сказала Нина. – Совершенно не слышно дыхания.

– Наоборот, – ответила Лена, – когда он спит, то очень тихо дышит.

Они не торопились отойти от моей кровати. Ничего, легкие у меня были достаточно вместительные. Потом Нина тихо позвала Сергея. Они ушли в мамину комнату и закрыли дверь. Пожалуйста. И при закрытой двери я все прекрасно слышал. Надо было только лечь на спину.

– Мама, разреши Володе поехать с нами. – это сказала Нина.

– Очень хорошо, – сказала мама. – Я уже начала думать, что вы совершенно очерствели. Пусть Володя едет, но домой он должен вернуться за неделю до начала занятий.

– Мама, мы хотим, чтобы Володя совсем уехал с нами, жил у нас...

– Вы сошли с ума. Нет, вы совсем сошли с ума.

– Мама, послушай, Володе у нас будет лучше. Ну что он здесь видит? А у нас строится новый город, огромный комбинат, работает столько интересных и разных людей...

– Уверена, эта блестящая идея принадлежит Сергею Николаевичу.

– Ошиблись, Надежда Александровна. Не мне – Лене.

Правда, я давно об этом думал, но первым говорить не решился. А думал давно. Парню предстоит выбрать свой путь в жизни, а что он о жизни знает?

– Он уже выбрал свой путь, не без вашей помощи. Он решил стать геологом. Я согласилась. Что вам еще надо? Кроме больших дел, в жизни существуют мелочи. Их тоже кто-то должен делать. Они не менее нужны и требуют отдачи всех сил. Вы за размах, я тоже. Но пусть мой сын поймет и научится уважать людей, которые повседневно, из года в год выполняют незаметную, черновую работу – выполняют так, как будто она первостепенной государственной важности.

– И никому не нужную ерунду можно делать с размахом, – сказал Сережа. – Дело не в размахе, а в пользе... Может быть, это действительно я вбил ему в голову стать геологом. Пусть теперь с другими людьми познакомится. Чем больше знаешь, тем легче выбрать то, что по душе.

\* \* \*

– Мама, в тебе говорит личная обида. Так нельзя. – Это сказала Лена.

Пока она молчала, все говорили спокойно. Удивительное существо Лена: стоило ей сказать несколько слов, и сразу поднималась буря. Мне больше не надо было напрягать слух: я слышал все так, как будто говорили рядом с моей кроватью.

– Обида? Какая обида? – спросила мама. – Неужели ты

думаешь, я могу обижаться на то, что Дом может кому-то показаться бесполезной затеей?

– Мама, не притворяйся. – Это тоже сказала Лена.

– Вот что, мои милые дочери, идите спать. Я устала.

– Мама, ты не права. Нельзя думать только о себе и считаться только с собой, – сказала Нина. – Ты не хочешь жить с нами – это твое дело. Но Володя должен поехать. Он растет, ему нужно хорошо и вовремя питаться.

– Ах как трогательно, – сказала мама. – Вас я вырастила, одевала, кормила, учила. А для Володи я уже не гожусь. Прекратим этот разговор. Я нужна Володе, и Володя нужен мне...

– Не надо иронии. Ты прекрасно понимаешь, о чем говорила Нина. Вспомни папу. – Это опять сказала Лена.

В комнату вошел Сережа. Из неплотно прикрытой двери пробивалась узкая полоска света. Она отсекала окно, у которого он стоял. Я его не видел, но слышал в его руке коробку спичек.

– Ну, вспомнила, – говорила мама, и в приоткрытую дверь я слышал ее дыхание. – О чем я должна вспомнить? О его пьяных сценах ревности? Ну, говори, что я должна вспомнить?

– Ты помнишь то, что тебе выгодно помнить.

– Перестань, Лена, – сказала Нина. – Мама, ты тоже не права. Папа был очень талантливый и мягкий человек. Разве можно его винить за то, что он тебя очень любил? Он лю-

бил всех нас, но тебя больше. Он бросил клинику, друзей, отказался от будущего, взял меня и Лену и поехал за тобой в ссылку. А там? Ведь вся тяжесть была на нем: он должен был зарабатывать на жизнь, нянчить нас, постоянно оберегать тебя от опасности. Ты не должна его винить за то, что он не выдержал и начал пить. Он был слишком мягким для борьбы, но тебе был всегда хорошим и верным товарищем, а нам отцом. Но о нем ты часто забывала. Впрочем, мы отвлеклись; не надо сейчас говорить о папе.

– Нет, надо. Я была плохая мать. Я забывала детей, мужа, себя. Казните меня за это. Но прежде ответьте: во имя чего я все это делала?

Сережа прошел в полосе света и плотно закрыл дверь. В комнате у мамы замолчали. Я сдерживал дыхание, чтобы лучше слышать. Но оттого, что я долго не дышал, у меня начало шуметь в ушах.

– Володька, ты спишь? – спросил Сережа.

– Сплю, – зло ответил я. – Тоже мне придумали! Никуда я от мамы не поеду.

Я подумал: хорошо бы написать Сереже и сестрам о перемене в моей судьбе. Но мне не хотелось вставать, и я продолжал сидеть верхом на стуле у открытого окна. Брюки и рубашка были все еще влажными, и меня знобило, но я все равно сидел.

Закат потух, и воздух на улице стал сумеречно серым. Только небо голубело над крышами домов, клетки на шахматной доске слились в сплошное темное пятно, и уже нельзя было различить цвета фигур. А я и не пытался. Я прислушивался к шагам редких теперь прохожих.

Утомленное солнце  
Нежно с морем прощалось, —

напевала женщина. Голос ее приближался. Женщина поравнялась с крайним открытым окном, и слова песни гулко ворвались в комнату. Потом они зазвучали приглушенно — женщина проходила простенок.

...В этот час ты призналась, —

напевала она.

Рядом с женщиной шел мужчина и обнимал ее плечи. Им было хорошо вдвоем, и они никуда не спешили. Женщина

посмотрела на меня и нараспев сказала:

– ...что нет любви...

Мне было неловко от ее взгляда, а по веселому блеску глаз я понял, что она не верит словам песенки.

В комнате у меня за спиной зажегся свет.

– Как ты сдал экзамен? – спросила мама.

Я не слышал, когда она вошла.

– Отлично...

– Было трудно?

– Не очень.

Мама положила на стол свертки и вышла на кухню:

– Смотри-ка, он перемыл всю посуду! Ты просто умница и заслужил роскошный ужин, – говорила мама в кухне. – Я пожарю тебе яичницу с колбасой.

Мама запела. Это случалось очень редко. В последний раз она пела год назад, когда мы получили телеграмму, что Нина родила дочь и ее назвали в честь мамы Надей.

Я обошел стол и остановился против открытой в коридор двери.

Жалобно стонет ветер осенний,

Листья кружатся поблекшие, —

пела мама и накачивала примус. У нее был цыганский голос: немного гортанный, с надрывом. Когда мама пела, мне очень легко было представить ее молодой, такой, как на фо-

тографии.

– Мама, комсомол призывает меня в военное училище, – громко сказал я.

Я смотрел в темный коридор и прислушивался. На кухне громко шумел примус. Мама больше не пела. Она прошла мимо меня в комнату и села на диван. Слышала она меня или нет?

Мама снимала туфли. Черные туфли с перепонкой, на низком каблуке. Она носила тридцать седьмой размер, такой же, как Инка, но ноги мамы казались намного больше Инкиных.

– Ты что-то сказал? – спросила мама.

– Сегодня меня вызывали в горком. Город должен послать в военное училище четырех лучших комсомольцев.

– Нет, Володя, это невозможно. Я не могу. Твои сестры мне этого никогда не простят.

– Не ты же посылаешь меня в училище.

– Это все равно. Они ничего не захотят признавать. Завтра я поговорю с Переверзевым. – Мама говорила как-то неуверенно. – Я, пожалуй, лягу, – сказала она.

В носках канареечного цвета с голубой каемкой мама пошла в свою комнату.

– Мама, ты обещала яичницу с колбасой, – сказал я. Сердце мое билось так, что отдавало в ушах.

– Пожарь сам, сынок. Я что-то устала...

Никогда я не видел ее такой растерянной и вдруг заподо-

зрил, что дело не в сестрах. Мама сама почему-то не хочет, чтобы я поступил в военное училище. Это меня напугало: переубедить маму, если она чего-то не хотела, было трудно. Все рушилось. Я представил, какими глазами посмотрю завтра на Инку, но это не помешало мне думать о яичнице с колбасой.

Я вышел на кухню, распустил на сковороде масло и, когда оно закипело, положил толсто нарезанные кружки колбасы. Я смотрел, как они поджаривались, и ругал себя за легкомыслие. Потом я вылил на сковороду три яйца, подумал и вылил еще два. Пока я жарил и ел яичницу, я страдал от сознания, что ни на что серьезное, вероятно, не годен.

В комнате у мамы горел свет. Я подошел к двери и остановился на пороге. Мама сидела на кровати, и ноги ее в носках нелепого цвета не касались пола.

Она опиралась спиной о стену, губы ее были плотно сжаты, и верхняя прикрывала нижнюю. От этого заметней стали морщины вокруг рта и на подбородке. Неужели маму мог кто-нибудь любить так, как я любил мою Инку? Мне стало стыдно, и до сих пор стыдно за то, что я мог так подумать. Маме было сорок девять лет. На мой взгляд, не так уж мало. Но я знал: взрослых этого возраста называют еще не старыми.

– Мама, – сказал я. – Первый раз в жизни я по-настоящему нужен комсомолу. Неужели я должен отказаться? Ты бы отказалась?

Мама смотрела на меня так, как будто в первый раз видела.

– Володя, ты когда-нибудь брился?

Положим, я еще никогда не брился. И это очень хорошо было видно по шелковистым косичкам на моих щеках и по темному пушку над верхней губой. Но какое это имело отношение к тому, о чем я говорил?

– Ты очень вырос, – сказала мама. – Тебя трудно узнать, так ты вытянулся за этот год.

Другого времени, чтобы меня разглядывать, у мамы, конечно, не было. Я начал злиться.

– Ты не пойдешь завтра к Переверзеву, – сказал я.

– Пожалуй, не пойду... Не могу пойти. Но ты должен понять – это очень серьезно. Гораздо серьезней, чем ты думаешь. Надеюсь, ты понимаешь, что происходит в мире? – Машины запавшие глаза блестели в черных глазницах.

– Конечно, понимаю. Я же сам делаю в школе политинформации, – сказал я.

Но судьбы мира в эту минуту меньше всего меня волновали. Я лягнул сзади себя пустоту, повернулся и пошел по комнате на цыпочках в лезгинке. Со стороны это, наверно, выглядело не очень серьезно. Но я не думал, как выгляжу со стороны.

Я постелил постель, и, когда закрыл окна и потушил свет, мама спросила:

– Ты еще не лег? Дай мне сегодняшние газеты...

Потом я лежал и смотрел в потолок, радуясь своей победе над мамой, одержанной неожиданно легко. Интересно, что в это время происходило у Сашки и Витьки? Сашкина мать, конечно, плачет, и веки у нее уже красные и набухшие, как перед ячменем. Но слезы ее совсем не признак покорности судьбе: ее слезы – грозное оружие против Сашки и его отца. Сашкина мама не только плачет – она при этом кричит, призывая богов и всех своих родственников в свидетели своей погубленной жизни.

Витькин отец не кричит и, понятно, не плачет. Но Витьке, должно быть, от этого не легче. Его отец выучился грамоте взрослым, считал учителей самыми значительными людьми на земле и жил мечтой увидеть сына учителем.

Каждую субботу Витькин отец в праздничном костюме являлся в школу. Гремя подковами ботинок, он проходил по коридору в учительскую. Там он долго и обстоятельно разговаривал с учителями. А Витька, по заведенному порядку, обязан был стоять в коридоре под дверью – это на случай, если отзывы учителей потребуют немедленного возмездия. Но отзывы о Витьке были всегда самые хорошие. Мы подозревали, что его отец просто не мог отказать себе в удовольствии выслушивать похвалы сыну. Он уходил из школы довольный и строгий, грозил Витьке изъеденным солью пальцем и говорил:

– Смотри!..

Трудно было даже представить себе, как Витькин отец

принял возможную перемену в Витькиной судьбе. А может быть, у Витьки и Сашки все оказалось проще? Думал же я, что мама будет гордиться оказанным мне доверием. С родителями всегда так: никогда нельзя знать заранее, как обернется дело. Только завтра могло все прояснить. А до завтра была еще целая ночь. Я знал по опыту: если заснуть, то время пролетит легко и быстро. Но заснуть я, как назло, не мог. На бульваре я не сумел ответить Инке, каким представляю себе наше будущее. А вот сейчас бы сумел. Когда я бывал один и не боялся казаться наивным, я мог представить себе все, что угодно, и так же интересно, как в книгах.

На улице снова появились прохожие – значит кончился концерт. В курзале выступал Джон Данкер – король гавайской гитары. Мы его еще не видели. Мы перевидали многих знаменитых артистов, а вот королей нам еще видеть не довелось.

Утром меня разбудил Витька. Расспрашивать его о разговоре с отцом не было никакой нужды: под правым Витькиным глазом будущий синяк еще сохранял первозданную лиловатость.

Я натянул бумажные брюки мышинового цвета с широкой светло-серой полоской – «под шевиот». На Витькино лицо я старался не смотреть. Левая половина лица была Витькина – худощавая, с широкой выпуклой скулой, а правая – чужая, одутловатая, с заплывшим и зловеще сверкающим глазом.

– Заметно? – спросил Витька.

Наивный человек, он надеялся, что синяк незаметен.

– Вполне, – сказал я и пошел умываться.

Витька виновато улыбнулся и провел кончиками пальцев по синяку. Он стоял у меня за спиной и говорил:

– Мать меня подвела. Я ей доверился, а она подвела.

Он думал, я буду его расспрашивать. Зачем? Захочет – сам расскажет. Куда важнее было придумать, как уговорить его отца. Я вытирался и придумывал, а Витька рассказывал:

– Понимаешь, я сначала все матери рассказал, чтобы она отца подготовила. Мать ничего, выслушала. Обедом накормила. Потом попросила огород полить, а сама ушла. Я думал, к соседке. Поливаю огород. Вижу, от калитки идет отец. Мать все хотела вперед забежать, а он ее рукой не пускает.

Подошел ко мне, спрашивает: «Правда?» Говорю: «Правда».  
Тут он мне и въехал...

– Ничего себе въехал!..

– Мать подвела...

– Я уже слышал. Переживешь.

Мы вернулись в комнату. На столе лежала записка. Мама написала, что ушла на базар и чтобы я подождал, пока она вернется и приготовит завтрак.

– Видал, какие бывают мамы? – спросил я. Но ждать маму не стал.

Мы доели вчерашнюю колбасу и запили ее холодным чаем. Сахар в нем не растаял, и мы выскребли его из стаканов ложками. Витька сказал:

– Отец пообещал пойти в горком и вынуть у Переверзева душу.

Я поперхнулся. Витькин отец не бросал слов на ветер – можно было считать, что душа Алеша Переверзева уже вынута.

– Очень хорошо, – сказал я. – В горкоме идет скандал, а я слушаю трогательный рассказ о том, как тебя подвела мама.

– Нет еще скандала. На промыслах сегодня погрузка. Отец пойдет в горком после работы.

– Надо предупредить Алешу.

На обороте маминой записки я написал, что ухожу заниматься. Я уже давно перестал посвящать маму в свои дела, если они не требовали непременно ее участия. Так было

спокойней и мне и ей. Например, легко представить, как поступила бы мама, если бы я проявил наивность и рассказал ей о вчерашнем разговоре с Инкой. А по-моему, мои отношения с Инкой и многие другие поступки, о которых я не рассказывал маме, никому и ничему не мешали, и я со спокойной совестью скрывал их. Наверное, в этом сказывалось влияние Сережи, но тогда его влияния я не осознавал.

Мы редко пользовались парадным входом, но, чтобы не встретиться с мамой, вышли через парадное.

– Может, лучше подождать тетю Надю? – спросил Витька.

– Зачем?

– Посоветоваться.

– Не надо, Витька, советоваться.

– Почему не надо?

– Знаешь, мама подымет шум... Лучше мы сами попробуем уговорить дядю Петю.

Витька шел по внутренней стороне тротуара, пряча в тени домов синяк. Было раннее утро, и, на Витькино счастье, нам почти не попадались прохожие. Мы обгоняли ранних пляжников – мам с детьми. Руки мам были напряженно вытянуты туго набитыми сетками. Три года назад к нам приезжал комический артист Владимир Хенкин. Он назвал такие сетки «авоськами», потому что в то время их повсюду носили с собой в карманах, портфелях, дамских сумочках в надежде, авось где-нибудь что-то «дают». Даже моя мама не расставалась с «авоськой». Я был убежден, что Хенкин придумал это

название в нашем городе, а курортники развезли его по всей стране.

Впереди нас шла полная женщина. Она быстро переступала короткими ногами. Сетка, которую она несла в руке, чуть не волочилась по тротуару. И, глядя на эту сетку, набитую свертками, я просто не верил, что было время, когда я пил чай без сахара и мама старалась незаметно подsunуть мне свою порцию хлеба.

За женщиной шел ее сын – худенький длинноногий мальчик в красных трусиках. Почему-то у толстых мам чаще всего бывают худенькие дети. Женщина очень торопилась. Есть такие женщины: они всегда торопятся. Наверное, боятся что-нибудь упустить. Я был уверен, что женщина впереди нас, кроме удобного места под навесом, которое могут занять другие, ничего перед собой не видела. А мальчик куда не спешил, и я его очень хорошо понимал. Он ко всему внимательно присматривался, шаг его делался медленным и настороженным, и на какую-то долю секунды мальчик совсем останавливался. Он знал то, что знают только дети: самое интересное попадаетея неожиданно, и тут главное – не прозевать. Женщина то и дело оглядывалась и окликала сына. По ее круглому лицу с тройным подбородком стекал пот. Мальчик бегом догонял ее, но тут же снова что-то привлекало его внимание, и он останавливался.

Мальчик увидел Витьку, и хотя ноги его продолжали передвигаться, глаза неотрывно разглядывали Витькин синяк.

Мальчишка наконец нашел то, что так долго искал.

– Мама! – закричал он и побежал.

Женщина оглянулась, окинула нас подозрительно-настороженным взглядом, но, конечно, не увидела того, что увидел ее сын. Он шел теперь, держась на всякий случай за петлю «авоськи».

– Пацан решил, что ты пират, – сказал я. – Он только не придумал, откуда у тебя взялся синяк.

Витька улыбнулся и чуть отвернул лицо. Но мальчишка все равно смотрел на Витьку и строил ему рожи.

Многие, кто не знал Витьку, принимали его за грубого, недалекого паренька. На самом же деле коренастый, с квадратным лицом и тяжелым подбородком Витька имел нежнейшую, легко уязвимую душу. Из нас троих он был самым деликатным и бесхитростно-доверчивым. Внимание мальчишки его смущало.

– Я думал, мать мне поможет, а она подвела, – сказал Витька. – Ты всегда знаешь, что из чего получится. А я никогда. Тыкаюсь, как слепой кутенок. Хочу как лучше, а выходит хуже.

– Ничего. Поживешь – научишься. Главное – уметь применять на практике диалектический метод.

Мы завернули за угол и чуть не наткнулись на мальчишку. Он стоял, поджидая нас, готовый обратиться в бегство и уже обеспокоенный тем, что мы не появляемся. Мальчишка взвизгнул и побежал догонять мать. На этот раз он притво-

рился испуганным. Он бежал, подскакивая на одной ноге, оглядывался и смеялся.

Улица спускалась вниз к небольшой площади. На солнце блестели трамвайные рельсы. Возле остановки толпились люди, ожидая трамвай. Знакомый нам дворник-татарин поливал из шланга мостовую. Время от времени он поднимал шланг, и струя воды с шумом врывалась в густую листву деревьев, и сверкающие капли падали с мокрых ветвей. Дворник улыбнулся и пустил нам под ноги тугую струю. Мы высоко подпрыгнули, а дворник засмеялся и стал смывать с булыжной мостовой подсохшую после дождя грязь.

Мы подошли к Сашкиному дому на углу Базарной. Сашка жил на втором этаже над аптекой. Витька сказал:

– Иди один, – и тут же уткнулся носом в афишную тумбу.

У трамвайной остановки плотно, в несколько рядов, стояли курортники. С крыльца Сашкиного дома я последний раз увидел мальчишку. Он потерял нас из виду, вертел во все стороны головой, а мать тащила его за руку, огибая очередь. Я помахал ему рукой и стал подниматься по лестнице.

Дверь хлопнула, как будто ее ударило сквозняком. Сашка даже не оглянулся. Я остановился на несколько ступеней ниже площадки. Сашка сверху смотрел на меня ошалелыми глазами.

– Кошмар! – сказал он и схватился за голову.

В Сашкиной квартире так кричали, что слышно было на лестнице.

– Соня, сколько тебе лет? – спрашивал Сашкин отец. Судя по голосу, он стоял у самой двери.

– Ты что, сошел с ума? Ты не знаешь, сколько мне лет? – кричала из комнаты Сашкина мама.

– Положим, сколько тебе лет, я знаю. Я только не знаю, когда ты поймешь, в какое время мы живем. Твой сын нужен государству – это же его и наше счастье.

– Моим врагам такое счастье! – кричала Сашкина мать. – Пусть себе берет такое счастье этот бандит и его партийная мама...

«Бандитом» был, конечно, я, а «партийной мамой» – моя мама.

– Кошмар! – снова сказал Сашка. Он подталкивал меня в спину. – Она совсем сошла с ума. Этот кошмар продолжается со вчерашнего вечера.

Я не торопился спускаться по лестнице.

– Можешь передать своей маме, – сказал я, – пусть она больше не думает подсовывать мне свое кисло-сладкое жаркое. И вообще не надейся, что я еще хоть раз к вам приду.

– Здравствуйте! А при чем я?

На лестнице пахло аптекой. Сашка понюхал свои руки, сказал:

– Ночью отец будил меня три раза. Он не мог сам дать матери валерьянку. Я должен был видеть, как моя мама страдает. Меня тошнит от запаха валерьянки.

– Ладно, Сашка. Если хочешь знать, моя мама тоже не сразу согласилась. А Витьку ты сейчас сам увидишь.

Мы вышли на крыльцо, но Витьку не увидели. Он стоял за афишной тумбой и разговаривал с дворником-татаринном.

– Ах, Витька, Витька, – говорил дворник. – Зачем дрался?

– Я же тебе говорю – не дрался. О борт лодки ударился.

Наверно, Витька повторял эту версию несколько раз, потому что голос у него был безнадежно усталый.

– Очень аккуратно ударился. Метко ударился, – говорил дворник и смеялся. – Раз ты не дрался, значит тебя били. За что били? За девочек били?

Витька стоял на мостовой. Дворник свертывал шланг.

– Вы целый, а друг битый, – сказал он, когда мы подошли, и белые зубы его влажно блеснули. Он перекинул шланг через плечо и пошел, громко говоря: – Друг битый, они целый...

Сашка с преувеличенным вниманием разглядывал Вить-

кин синяк:

– Война в Крыму. Крым в дыму...

– Мать меня подвела. Я ей доверился, а она подвела...

Нежную душу Витьки больше всего потрясло предательство матери. А кого бы это не потрясло? Мы любили своих родителей и хотели видеть в них союзников и помощников. Нас огорчало, когда родители нас не понимали. Но о том, что мы огорчаем родителей, мы не думали. И не потому, что были жестокими или невнимательными сыновьями. Мы просто поступали так же, как поступали родители, когда были в нашем возрасте. В этом извечном споре отцов и детей, наверное, правы дети, даже в тех случаях, когда они ошибаются.

Мы стояли в тени афишной тумбы.

– Хватит причитать, – сказал я. – Мы достаточно взрослые. Оттого что ваши родители против, ничего не изменится. Они же не могут серьезно помешать поступить в училище. Вы поймите, мы уже взрослые.

Я сказал то, что зрело в нас со вчерашнего дня. А может быть, еще и раньше. У каждого (и, наверное, по-разному) наступает минута, когда он вдруг почувствует себя взрослым. Не важно, что после этого в нем остается еще много детского. Ощущение взрослости, раз осознанное, будет постепенно крепнуть. Мы почувствовали себя взрослыми на мостовой у афишной тумбы.

По лицам своих приятелей я видел: сказанное мной им понравилось. Но Сашка не был бы Сашкой, если бы не ска-

зал:

– Люблю оптимистов. Ему не поставили синяка. Его не будили ночью три раза. В общем, ему хорошо: он едет в училище с разрешения мамы.

– Ерунда! Витька, помнишь женщину с мальчишкой? – спросил я. – Ту, которая спешила на пляж? У нее была цель – захватить место под навесом. Кроме места под навесом, она ничего перед собой не видела. Так вот. Сашка похож на эту женщину. Наша цель – училище. Но, по-моему, дорога к цели тоже интересная. Мы ее еще будем вспоминать.

Я не был уверен, что Сашка и Витька по достоинству оценили глубину моей мысли.

– Я бы хотел уже ее вспоминать, – сказал Сашка.

А Витька ни на секунду не забывал о своем синяке и поэтому изучал афишу. Его повышенный интерес к ней привлек внимание Сашки. На афише был изображен мужчина во фраке. Волнистые волосы разделял четкий пробор. Огромные красные буквы вещали, что имя этого человека Джон Данкер. А для тех, кто его не знал, чуть ниже сообщалось: «король гавайской гитары».

– Спорю, – сказал Сашка, – настоящая фамилия этого короля Пейсахович, и, прежде чем на него надели корону, он был приказчиком в Киеве у мадам Фишер.

– Откуда ты знаешь про мадам Фишер? – спросил Витька.

Наивный человек: больше всего его поражали подробности. Они мешали ему догадаться, что Сашка врет.

– Здравствуйте, – сказал Сашка. – Ты никогда не слышал о мадам Фишер? Ты не знаешь, что у нее был галантерейный магазин на Крещатике? Ну а о том, что в Киеве есть улица Крещатик, ты знаешь?

– Сашка, перестань, – сказал я.

Но остановить Сашку, когда он разойдется, было невозможно.

– Воротнички с фирменной маркой мадам Фишер были известны всему миру. Только такой невежда, как ты, может о них ничего не знать.

Витька смотрел на Сашку и недоверчиво улыбался. Витьку смущали воротнички. Как будто придумать воротнички было труднее, чем саму мадам Фишер.

Мостовую переходил почтальон. Сашка смотрел на его сумку как замороженный.

– Ты видишь? – Сашка хлопнул меня по плечу.

Я, конечно, видел, но сумка почтальона мне ни о чем не говорила.

– Хорошенького секретаря комитета мы терпели два года, – сказал Сашка. – Представляю, как будут выглядеть наши родители, когда завтра утром получают газеты и в них будет написано про нас. За Витькиного отца ничего не могу сказать. Но моя мама этого не выдержит. Витька, представляешь, что будет с твоим отцом?

Витька пока ничего не представлял. У Сашки всегда возникал миллион идей. Но потом оказывалось, из сотни одна

заслуживала внимания. Витька смотрел на меня. Я сразу понял, что с газетой Сашка придумал здорово, но не хотел этого сразу показывать.

– Попробовать можно, – сказал я. – Идем к Переверзеву.

Мы перешли через мостовую. Трамвайная остановка почти опустела. Мамы с детьми были уже на пляже. А те, кто приезжал в наш город развлечься, еще спали. Их день кончился незадолго до рассвета, когда закрывались рестораны, остывал пляжный песок и море становилось теплее холодного воздуха. А новый день начинался, когда духота нагретых солнцем домов поднимала их с постели.

Солнце уже грело, но еще не было жарко. Мы шли в теплой и мокрой тени улицы. Маленькие лужи на политых тротуарах блестели, как осколки стекла.

Мы снова почувствовали себя взрослыми, шли неторопливо, хотя хотелось бежать. Когда мы пришли в горком, часы в Алешинном кабинете пробили девять. Алеша сам только что пришел и перебирал на столе бумаги.

– Привет, профессора, – сказал он.

Профессорами нас прозвал Павел Баулин. Что он хотел подчеркнуть этим прозвищем, мы не знали и не допытывались. Нас вполне устраивало прямое значение этого слова, а к интонации, с которой оно произносилось, можно было не прислушиваться. Сам Павел с трудом окончил семь классов, пробовал учиться в физкультурном техникуме, но бросил. Он объяснял это тем, что не мог жить без моря.

– Вечером на бюро утвердили ваши рекомендации, – сказал Алеша и подвинул на край стола наши личные дела.

– Алеша, вечером к тебе придет Витькин отец, – сказал я.

– Зачем?

– Вынимать душу...

Алеша поднял со лба пряди длинных прямых волос, они сами по себе рассыпались на голове на две равные половины.

– Сопляки, – сказал он. – Где Аникин?

Я подозвал Алешу к окну. Витька стоял на другой стороне улицы и, конечно, лицом к афише того же Джона Данкера. Этими афишами был обклеен весь город, и я убежден, что в тот день Витька запомнил портрет короля гавайской гитары на всю жизнь.

– Витька! – крикнул я. Он оглянулся. – Посмотри, – сказал я Алеше, – любишь громкие слова говорить.

– Аникин! Иди сюда, – позвал Алеша.

Витька покачал головой и отвернулся к афише.

– Не пойдет, – сказал я. – Давай сами решать, как быть.

– Да-а-а, – сказал Алеша и вернулся к столу. – Положение... Главное, уже на бюро утвердили и Колесников одобрил... А что Виктор думает? Какое у него настроение?

– Думает то, что и думал. Решения пока не меняет.

– Тогда все в порядке. – Алеша обеими руками поднял вверх волосы. – Пусть Аникин-старший приходит. Я с ним буду разговаривать в кабинете у Колесникова.

– Погоди, Алеша. Ты же знаешь Витькиного отца. Зачем

доводить до скандала? Сашка, выкладывай свое предложение.

Сашка сидел на диване и внимательно изучал кончик собственного носа. Я не помнил случая, чтобы Сашку надо было тянуть за язык. Такое с ним случилось впервые.

– Ты слышишь? – сказал я. – Выкладывай свое предложение.

– Алеша, ты нас знаешь, – сказал Сашка. – Люди мы скромные, за славой не гонимся. Но если мама прочтет завтра утром в газете, что ее сын – лучший из лучших и без него не может обойтись армия, она успокоится. Положим, не совсем. Но в доме можно будет жить. Это моя мама. А Витькин отец...

Алеше не нужны были подробности. Он был очень сообразительный и все понял. Как только он услышал слово «газета», он начал ходить по комнате и теперь уже стоял у двери.

– Молодцы профессора, – сказал он, не дав Сашке договорить. – Можете считать статью напечатанной. Ждите... Я – наверх.

– Постой, – сказал я. – Ждать нам некогда. Мы пойдем к Витькиному отцу. На всякий случай к пяти часам уйди из горкома. На всякий случай...

На улице было жарко. Я не помнил в конце мая такой жары. Думать на солнце – мало приятного. В голове у меня шумело, а утро только еще начиналось. Сашка сказал:

– Все в порядке. Алеша пробьет. Я всегда говорил: Алеша

– голова.

– Витька, – сказал я, – ты доедешь с нами до Жени. Скажешь девочкам, что мы задерживаемся. Потом приходи на промысел. На глаза отцу не показывайся, пока не позовем. Понял?

– К девочкам не пойду, – сказал Витька.

– Ерунда. Синяки за один день не проходят. Может быть, ты и на экзамен завтра не пойдешь?

Витька вышел из трамвая возле Жениного дома, а я и Сашка доехали до тупика Старого города. В короткой тени, падающей от низкой, без окон стены, сидели и стояли люди. Они подняли с земли мешки и корзины и пошли к трамваю. Они казались мне призрачными и невесомыми. Они проходили мимо меня, и я смотрел на них в каком-то странном забытии. Как я сюда попал? Зачем я здесь? Завтра последний экзамен. Мы давно должны были сидеть в саду у Жени. Вокруг стола, врытого в землю, прохладно. Там тонко пахнет нагретая солнцем сирень. Когда ветер трогает страницы книг, они шуршат. Шуршание их сливается с шелестом листьев. Голос того, кто в это время читает, слышен только нам: он не может заполнить всего пространства.

Сутки, всего только сутки. До этой минуты я тоже так думал. Но сейчас моя вера в незыблемость времени сильно пошатнулась: всего только сутки отделяли вчера от сегодня, а все, чем мы жили до вызова нас в горком, стало далеким прошлым.

За трамвайным тупиком начиналась Пересыпь. На широких улицах без мостовых и тротуаров маленькие домики выглядели еще меньше.

– Чего ты стоишь? Пойдем берегом, – сказал Сашка. Он вообразил, что я стою у трамвайного круга и думаю, какой

дорогой идти на промыслы.

Трамвай ушел, и к блеску солнца прибавился блеск рельсов.

– Пойдем, – сказал я.

По узкой тропке, протоптанной между пасленовых кустов, мы спустились к берегу. Широкая полоса диких пляжей тянулась до самых промыслов. Утренний накат выбросил далеко на песок свежие водоросли. Они высохли и побелели. Двое рыбаков чинили на берегу шаланду<sup>4</sup>. Эхо от ударов топора было громче самих ударов. В черном ведре над костром кипела смола, и пламя под ведром на солнце казалось прозрачным.

Мы сняли туфли и засунули их в карманы брюк. Горячий крупный песок приятно покалывал ноги: с тех пор как мы перестали бегать по городу босиком, наши ноги стали удивительно чувствительными. Мы шли по мокрому песку, такому плотному, что на нем не оставалось следов. Теплая вода, выплескивая, омывала наши ступни.

– Сашка, ты все понял? Главное, жалуйся дяде Пете на несознательность своих родителей, – сказал я.

– И не подумаю, – ответил Сашка.

Он еще в трамвае заупрямился. Ругаться с ним в трамвае было неудобно. Теперь мы были одни, и я мог высказать все, что о нем думаю.

– Осел, – сказал я. – Или ты будешь делать то, что тебе

---

<sup>4</sup> Шалáнда – плоскодонное гребно-парусное рыболовное судно.

говорят, или иди домой.

– Отстань! – сказал Сашка.

Было очень жарко. Сашка шел сзади меня и злился. На здоровье: меня его настроение мало трогало. Мы сняли рубашки. Влажную кожу овеяло свежестью. Но мы ощущали ее недолго. К середине лета, когда нашу кожу покрывал густой загар, она становилась совершенно невосприимчивой к солнцу. Но пока мы очень чувствовали палящий зной. Рубахи мы заткнули за пояс, а брюки подвернули выше колен. В таком виде мы прошли под деревянной аркой на территорию промыслов.

Соль добывали из воды. Вода текла из соленого озера в прямоугольные бассейны, которые почему-то назывались картами. После того как вода, переливаясь из бассейна в бассейн, испарялась, соль выгребали лопатами. Бассейны-карты тянулись вдоль берега километров на пять. В нашем городе соляные промыслы были единственным промышленным предприятием государственного значения. Наша ослепительно-белая и мелкая, как пудра, соль носила высшую марку столовой соли.

Мы еще долго шли по территории промыслов, мимо причалов, у которых стояли баркасы. Где-то за буртами соли духовой оркестр играл краковяк. Медные звуки, ослабленные зноем, то усиливались, то почти пропадали.

– Прими-и!

Я оттащил разомлевшего Сашку в сторону. Толстый дядь-

ка прокатил мимо тачку. Он посмотрел круглыми и злыми глазами. Трусы грязно-серого цвета сползли у него под круглый живот. Руки его были широко расставлены. Он налегал на рукоятки, быстро и мелко переставлял босые ноги, откидывая их в стороны. Колесо тачки постукивало по доске, и казалось, дядька прилагает все силы, чтобы оно не соскочило в песок.

Рабочие с тачками бегали по всему берегу от буртов соли к причалам. Чтобы никому не мешать, мы пошли по узкому бортику бассейна. Белая соль на дне его была прикрыта сверху прозрачной пленкой воды, и в ней отражались наши фигуры с раскинутыми для равновесия руками. Чем ближе мы подходили к центру промыслов, тем лучше слышен был оркестр. Витькиного отца мы увидели, когда он возвращался от причала с пустой тачкой. Но прежде чем мы его увидели, Сашка показал на плакат. На квадратном куске фанеры против четвертого причала было написано: «СТАХАНОВСКОЙ БРИГАДЕ Петра Андреевича Аникина – СЛАВА!»

Бригада Витькиного отца была первой стахановской бригадой в нашем городе. Это событие произошло сравнительно недавно, и мы хорошо помнили все подробности. Витькин отец с товарищами по бригаде через несколько дней после того, как газеты сообщили о трудовом подвиге донбасского шахтера, установили на промыслах сносшибательный рекорд погрузки. До этого в каждой бригаде один грузил лопатой тачки, а пятеро отвозили их на баркас. Пока грузи-

лась тачка, простаивал тачечник, а когда тачку увозили, «загорал» лопаточник. В день рекорда в бригаде Витькиного отца на каждого человека было по две тачки: пока отвозили одну – другая нагружалась.

Городская газета провела дискуссию: можно ли такой труд считать стахановским? Итоги подводили на бюро горкома партии. Одни доказывали, что стахановское движение – это высокая механизация, а не мускульный труд. Другие говорили, что было бы политической ошибкой не поддержать инициативу рабочих. Лучшее всех на бюро выступила моя мама. Она сказала: стахановский труд – это не только механизация, а и хорошая организация производственных процессов. После этого большинство членов бюро решило признать бригаду Витькиного отца достойной высокого звания.

А мы еще раньше признали бригаду стахановской. Формальности нас меньше всего интересовали. Главное было то, что и в нашем городе началось движение, которое охватывало всю страну. И начал его не кто-нибудь, а Витькин отец.

Теперь все бригады на промыслах работали по методу Аникина. Когда за солью приходили баркасы, на промыслах объявлялась «стахановская вахта». В такие дни подводились итоги соревнования. Потом промыслы затихали: в очищенные карты впускали новую воду, выпаривали ее, потом выбрасывали соль в бурты для просушки.

В дни погрузок музыка и флаги над причалами придавали промыслам праздничный вид.

Дядя Петя катил пустую тачку. Он посмотрел на нас. Глаза у него были такие же, как у Витьки, – голубые, только голубизна их была холоднее. Мы хором выкрикнули:

– Здравствуйте, дядя Петя!

Но на дядю Петю наше приветствие не произвело никакого впечатления. Мимо нас прошуршали его брезентовые штаны. Он бежал рысцей под музыку, и его широкая спина вздрагивала: так бегают грузные и уже немолодые мужчины.

– Он поздоровался? – спросил Сашка.

– По-моему, нет...

– Положение...

– А ты думал, он увидит нас и раскиснет! – сказал я. – Пошли!

Мы догнали дядю Петю, когда он уже держал рукоятки грузной тачки.

– Дядя Петя, где Витька? – спросил я.

Дядя Петя налег на рукоятки и поставил колесо на доску. Потом толкнул тачку и пошел коротким и быстрым шагом. Очень вежливо с его стороны. Но если он думал нас запугать, то ошибался: напугать нас молчанием было невозможно.

– Посидим, – сказал я.

Мы сели на бортик бассейна. Сашка поерзал, устраиваясь поудобней:

– Ты уверен, что мы не уйдем отсюда с синяками?

Полной уверенности у меня не было. Я надеялся на авторитет мамы и на уважение, с которым к ней относился дя-

дя Петя. Мы сидели на бортике бассейна и смотрели. Худой, жилистый дядька с круглой стриженной и седой головой, не разгибаясь, грузил большой совковой лопатой пустые тачки. Их то и дело подвозили рабочие и взамен увозили груженные. Когда лопаточник поднимал голову, мы видели подковку сивых усов и пучки бровей. Усы и брови на его загорелом лице казались приклеенными. Его длинные худые руки двигались как на шарнирах. Но самым удивительным было то, что этот немолодой уже дядька совсем не потел.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.